Жерминаль

Автор:
Эмиль Золя

Жерминаль

Эмиль Золя

Ругон-Маккары #13

«Жерминаль» – тринадцатый роман цикла «Ругон-Маккары», одно из лучших произведений французского писателя Эмиля Золя. На примере нескольких поколений шахтерской семьи Маэ писатель воссоздает картину тяжелой жизни углекопов и их борьбы за свои права. Изнурительный труд, нищета и полуголодное существование рабочих приводят к грандиозной забастовке на шахте в Монсу.

Эмиль Золя

Жерминаль

© Перевод. Н. Немчинова, наследники, 2019

© Агентство ФТМ, Лтд., 2019

* * *

Часть первая

I

В непроглядной тьме беззвездной ночи по большаку, проложенному из Маршьена в Монсу и на протяжении десяти километров рассекавшему свекловичные поля, шел одинокий путник. Впереди ничего не было видно, даже земли, но он чувствовал, что вокруг плоская равнина, – холодный мартовский ветер гулял тут на приволье, налетая порывами, словно шквал в морских просторах, проносясь над болотами и голой низиной. Ни единого деревца не вырисовывалось в небе; в сыром и холодном мраке дорога пролегала ровная, прямая, как стрела.

Путник отправился из Маршьена в третьем часу, шел широким шагом, дрожа от стужи в вытертой своей ватной куртке и плисовых штанах. Ему очень мешал узелок с пожитками, завязанными в клетчатый платок, и он все прижимал локтем этот узелок то к левому, то к правому боку, пытаясь поглубже засунуть в карманы озябшие красные руки, до крови потрескавшиеся на ветру. У этого человека не было ни работы, ни пристанища, и сейчас в усталой голове почти не было мыслей – только надежда на то, что с восходом солнца чуть потеплеет. Он шел уже час, – до Монсу оставалось километра два, – и вдруг, слева от дороги, увидел три красных огня, горевших под открытым небом, словно три костра, но как будто повисших в воздухе. Путник заколебался, стало страшно идти туда, но он не мог воспротивиться мучительному желанию хоть минутку погреться у огня.

Дорога теперь тянулась в глубокой выемке, огни исчезли. Справа поднимался забор из нетесаных досок, огораживавший полотно железной дороги, а слева над откосом, поросшим травой, смутно виднелись коньки низких кровель и едва угадывались однообразные очертания деревенских домишек. Путник прошел шагов двести. На повороте дороги снова появились огни, но он все не мог понять, почему они горят так высоко в беззвездном небе, будто три чадных луны. А внизу открывалось другое зрелище, заставившее его остановиться. Там чернело громоздкое скопище приземистых строений, над ними вздымалась высокая фабричная труба; кое-где в немытых окнах тускло светились огоньки; снаружи подвешены были к черным балкам пять-шесть тусклых фонарей, обрисовывавших какую-то вышку, похожую на исполинские козлы; и из этих фантастических сооружений, затянутых мраком и дымом, доносился лишь один звук: с протяжным, громким шумом откуда-то вырывался невидимый в темноте

пар.

Тогда путник понял, что перед ним угольные копи. И ему стало досадно. Зачем он сюда пришел? Работы ведь не дадут. И он не направился к строениям, а решился наконец взобраться на террикон, где в трех чугунных сквозных жаровнях горел каменный уголь, освещая место работы и согревая людей. Должно быть, ремонтные работы в шахте вели до глубокой ночи: на-гора все еще подавали пустую породу. Теперь путник слышал, как грохотали по мосткам колеса, различал фигуры рабочих, опрокидывавших вагонетки у каждой жаровни.

– Здоро?во! – сказал он, подходя к одной из жаровен.

Спиной к огню стоял возчик, старик в лиловой шерстяной фуфайке, в картузе из кроличьего меха. Большая буланая лошадь остановилась как вкопанная и ждала, когда опорожнят шесть вагонеток, которые она привезла. Рабочий, приставленный к разгрузочному механизму, рыжий тощий малый, не торопясь, с сонным видом нажимал рычаг. А на гребне террикона все сильнее задувал холодный северный ветер, резавший лицо, едва не сбивавший с ног.

– Здоро?во! – ответил старик.

Наступило молчание.

Чувствуя, что на него смотрят с подозрением, прохожий тотчас назвал себя:

– Меня зовут Этьен Лантье, я механик… Не найдется ли здесь работы?

Пламя ярко освещало его. На вид ему было не больше двадцати одного года; очень смуглый, красивый парень, худощавый, но, должно быть, сильный.

Успокоившись, возчик покачал головой.

– Работы для механика здесь не найдется. Нет… Вчера опять двое приходили. Нет ничего.

Порыв ветра прервал его речь. Когда утихло, Этьен спросил, указывая на темное скопище построек у подножия террикона:

– Это шахта, да?

Старик не мог ответить: он зашелся кашлем. Наконец сплюнул, и на земле, багровой в отсветах огня, осталось черное пятно.

– Правильно – Ворейская шахта. А вон там рабочий поселок, совсем близко, можно сказать, рядом.

И, в свою очередь, протянул руку, указывая на селение, крыши которого Этьен Лантье еще дорогой смутно различил в темноте. Тем временем все шесть вагонеток были опорожнены, и старик, даже не щелкнув кнутом, отправился обратно, вслед за своим поездом, с трудом переступая негнущимися от ревматизма ногами; буланая лошадь трусила между рельсами, налегая на постромки, и ветер ерошил на ней шерсть.

Шахта постепенно выплывала из темноты. Забывшись у костра, Этьен грел иззябшие руки, все в кровоточащих трещинках, и рассматривал надшахтные постройки: большой крытый толем сарай сортировочной, копер над стволом шахты, обширное помещение для машины, четырехугольную башенку, где установлен был паровой насос для откачки воды. Шахта, сгрудившая в лощине свои приземистые кирпичные строения, вздымавшая высокую трубу, словно грозный рог, казалась ему каким-то злобным ненасытным зверем, который залег тут, готовый пожрать весь мир. Всматриваясь в него, он думал о самом себе, о своих скитаниях: вот уже неделя, как он бродяжничает, тщетно ищет работы. Вспоминалось, как он работал в железнодорожных мастерских, как дал пощечину начальнику, как его выгнали за это из мастерских, выслали из Лилля, а теперь гонят отовсюду; в субботу пришел в Маршьен – говорили, что там есть работа на железоделательном заводе; но, оказалось, ничего нет – ни там, ни в Сонвиле; воскресенье пришлось провести под навесом тележной мастерской, прячась между штабелями досок: в два часа ночи сторож его прогнал. И вот нет ничего, ни единого су, даже сухой корки хлеба нет. Как же теперь быть? Зачем без толку скитаться по дорогам, даже не зная, где укрыться от ледяного ветра? А это действительно шахта; редкие фонари освещали площадку, где сваливали уголь; внезапно распахнулась дверь, и за нею, при ярком свете, он увидел огненные топки паровых котлов. Теперь ему стало понятно, откуда раздавались странные звуки: с равномерным непрестанным пыхтеньем в шахте работал

насос, и казалось, что это дышит притаившееся во тьме чудовище, дышит надсадно, хрипло, с долгими всхлипываниями, словно у него заложило грудь.

Чернорабочий, ссутулясь, сидел у разгрузочного механизма, ни разу не подняв глаз на Этьена, и тот уже собирался уйти, подобрав свой узелок, упавший на землю, как вдруг послышался затяжной кашель, – возвращался возчик. Постепенно из мрака выросла его фигура, за ним брела буланая лошадь, тащившая шесть груженых вагонеток.

– В Монсу есть фабрики? – спросил прохожий.

Старик сплюнул черным и ответил под завыванье ветра:

– В Монсу? Еще бы! Сколько их там! Поглядел бы ты года три-четыре назад. Все так и кипело, не хватало рабочих. Зарабатывали хорошо! Сроду таких заработков не бывало… А теперь вот опять брюхо подводит с голоду. Смотреть жалко, что кругом делается! Увольняют всех подряд, мастерские одна за другой закрываются… Император, может, и не виноват… Да зачем он ввязался в войну в Америке? А к тому же холера людей косит, да и скот тоже мрет.

Тогда и прохожий начал жаловаться, вторя старику короткими фразами, потому что от ветра перехватывало дыханье. Он рассказал о своих бесплодных поисках работы, о скитаниях, длившихся уже неделю. Так что же теперь, с голоду, что ли, подыхать? Скоро на дорогах полно будет нищих. Да, соглашался старик, дело может плохо кончиться: это ведь не по-божески выбрасывать столько народу на улицу.

– Мяса и в глаза не видим.

– Да хоть бы хлеб был!

– Вот именно, хоть бы хлеб!

Голоса их заглушал ветер, уносивший с унылым свистом обрывки фраз.

– Погляди! – выкрикнул возчик, поворачиваясь к югу. – Вон там Монсу…

И, вновь протянув руку, он указывал на невидимые в темноте селения, перечисляя их одно за другим. В Монсу сахарный завод Фовеля еще работает, но на другом сахарном заводе – у Готона – часть рабочих уволили. Только паровая мельница Дютилейля да завод Блеза, где изготовляют канаты для рудников, устояли. Затем старик повернулся к северу и широким жестом обвел полгоризонта: в Сонвиле машиностроительные мастерские не получили двух третей обычных заказов; в Маршьене из трех домен зажгли только две; на стекольном заводе Гажбуа того и гляди рабочие забастуют, потому что им хотят снизить заработную плату.

– Знаю, знаю, – повторял прохожий, выслушивая эти сведения. – Я уже был там.

– У нас тут пока еще держатся, – добавил возчик. – Но все ж таки на шахте добычу уменьшили. А вот глядите, прямо перед вами – Виктуар, там только две коксовые батареи горят.

Он сплюнул, перепряг свою сонную лошадь к поезду пустых вагонеток и зашагал позади них.

Этьен пристально смотрел вокруг. По-прежнему все тонуло во мраке, но рука старика возчика словно наполнила тьму великими скорбями обездоленных, и молодой путник безотчетно их чувствовал, – они были повсюду в этой беспредельной шири. Уж не стоны ли голодных разносит мартовский ветер по этой голой равнине? Как он разбушевался! Как злобно воет, словно грозит, что скоро всему конец: не будет работы, и наступит голод, и много-много людей умрет! Этьен все смотрел, стараясь пронизать взглядом темноту, хотел и боялся увидеть, что в ней таится. Все скрывала черная завеса ночи, лишь вдалеке брезжили отсветы над доменными печами и коксовыми батареями. Коксовые подняли вверх чуть наискось десятки своих труб, и над ними блещут красные языки пламени, а две башни доменных печей бросают в небо голубое пламя, словно гигантские факелы. В ту сторону жутко было смотреть, – там как будто полыхало зарево пожара; в небе не было ни единой звезды, лишь эти ночные огни горели на мрачном горизонте – как символ края каменного угля и железной руды.

– Вы, может, из Бельгии? – послышался за спиной Этьена голос возчика, успевшего сделать еще один рейс.

На этот раз он пригнал только три вагонетки. Надо разгрузить хоть эти три: случилось повреждение в клети, подающей уголь на-гора, – сломалась какая-то гайка; работа остановилась на четверть часа, если не больше. У подножия террикона стало тихо, смолк долгий грохот колес, сотрясавший помост. Слышался только отдаленный стук молота, ударявшего о железо.

– Нет, я с юга, – ответил Этьен.

Рабочий опорожнил вагонетки и сел на землю, радуясь нежданному отдыху; он по-прежнему угрюмо молчал и только вскинул на возчика тусклые выпуклые глаза, словно досадуя на его словоохотливость. Возчик обычно был неразговорчив. Должно быть, незнакомец чем-то ему понравился, и на него нашло желание излить душу, – ведь недаром старики зачастую говорят вслух сами с собой.

– А я из Монсу, – сказал он. – Звать меня Бессмертный.

– Это что ж, прозвище? – удивленно спросил Этьен.

Старик захихикал с довольным видом и, указывая на шахту, ответил:

– Да, да, прозвали так. Меня три раза вытаскивали оттуда еле живого. Один раз обгорел я, в другой раз – землей засыпало при обвале, а в третий – наглотался воды, брюхо раздуло, как у лягушки… И вот как увидели, что я не согласен помирать, меня и прозвали в шутку «Бессмертный».

И он засмеялся еще веселее, но его смех, напоминавший скрип немазаного колеса, перешел в сильнейший приступ кашля. Языки пламени, вырывавшиеся из жаровни, ярко освещали его большую голову с редкими седыми волосами, его бледное, круглое лицо, испещренное синеватыми пятнами. У этого низкорослого человека была непомерно широкая шея, кривые ноги, выпяченные икры и такие длинные руки, что узловатые кисти доходили до колен. А вдобавок он, как и его лошадь, которая спала стоя, как будто не чувствуя северного ветра, тоже был словно каменный и, казалось, не замечал ни холода, ни порывов ветра, свистевшего ему в уши. Когда приступ кашля, раздиравшего ему горло и грудь, кончился, он сплюнул на землю около огня, и на ней осталось черное пятно.

Этьен посмотрел на старика, посмотрел на землю, испещренную черными плевками.

– В копях давно работаете? – спросил он.

Бессмертный развел руками:

– Давно ли? Да сызмальства – восьми лет еще не было, как спустился в шахту, – вот как раз в эту самую, в Ворейскую, а сейчас мне пятьдесят восемь. Ну-ка сосчитайте… Всем перебывал: сперва коногоном, потом откатчиком – когда сил прибавилось, а потом стал забойщиком, восемнадцать лет рубал уголек. Да вот обезножел я, ревматизм одолел, и из-за него, проклятого, меня перевели из забойщиков в ремонтные рабочие, а потом пришлось поднять меня на-гора, а то доктор сказал, что я под землей так навеки и останусь. Ну вот, пять лет назад меня поставили возчиком. Что? Здорово все-таки! Пятьдесят лет на шахте, а из них – сорок пять под землей.

Пока он рассказывал, горящие куски угля, то и дело падавшие из жаровни, багровыми отблесками освещали его бледное лицо.

– Теперь они мне говорят: на покой пора, – продолжал он. – А я не хочу. Нашли тоже дурака!.. Еще два годика протяну – до шестидесяти, значит, – и буду тогда получать пенсию в сто восемьдесят франков. А если сейчас с ними распрощаюсь, они дадут только сто пятьдесят. Ловкачи! И чего гонят? Я еще крепкий, только вот ноги сдали. А все, знаешь ли, из-за воды. Вода меня в забоях поливала восемнадцать лет, – ну и взошла под кожу. Иной день, чуть пошевельнешься, криком кричишь.

И он опять закашлялся.

– Кашель тоже от этого? – спросил Этьен.

Но старик вместо ответа энергично мотал головой.

А когда отдышался, сказал:

– Нет. В прошлом месяце простудился. Раньше-то никогда кашля не бывало, а тут, гляди-ка, привязался, никак от него не отвяжешься. И вот чудное дело: харкаю, харкаю…

В горле у него заклокотало, и он опять сплюнул черным.

– Это что же, кровь? – осмелился наконец спросить Этьен.

Бессмертный не спеша вытер рот рукавом.

– Да нет, уголь… В нутро у меня столько угля набилось, что хватит на топку до конца жизни. А ведь уже пять лет под землей не работаю. Стало быть, раньше припас уголька, а сам про то ничего и не знал. Не беда, с углем крепче буду.

Наступило молчание. Вдали раздавались равномерные удары молота в шахте. На равнине жалобно завывал ветер, и казалось, в беспросветном мраке кто-то стонет от голода и усталости. В жаровне испуганно металось пламя, и старик, стоя возле него, негромко заговорил, вспоминая прошлое. Ну понятно, не со вчерашнего дня он сам и его близкие жилы из себя тут вытягивали. В их роду все работали на Компанию угольных копей в Монсу со дня ее основания, а она ведь существует уже сто шесть лет. Его дед, Гильом Маэ, пятнадцатилетним парнишкой нашел в Рекильяре жирный уголь, там-то Компания и заложила свою первую, теперь уже заброшенную шахту – неподалеку от сахарного завода Фовеля. Всему краю известно, кто открыл этот пласт, – недаром же его назвали Гильомов пласт – по имени деда. Возчик не знал этого деда, – говорят, был рослый, сильный человек, умер своей смертью в шестьдесят лет. Отец, Никола Маэ, по прозвищу Рыжий, до сорока лет не дожил, погиб при проходке Ворейской шахты – произошел обвал, и отца прямо в лепешку сплюснуло; раздробила земля его кости, выпила кровь. Двое из его дядьев и три брата тоже там головы сложили. А сам он, Венсан Маэ, вышел оттуда цел и почти невредим, – только ноги плохо ходят. Не зря его считают счастливчиком. Так оно и шло. Что поделаешь, – надо кормиться, вот и работали в копях, добывали уголь. И отцы и дети – все углекопы. Теперь его сын, Туссен Маэ, и все внуки, и вся родня надрываются. А живут все вон там, в рабочем поселке. Сто шесть лет рубят уголь; после стариков – ребятишки идут, и все работают на одного хозяина. Каково, а? Многие ли господа могут так вот, начистоту, рассказать о прошлом своего рода?

– Да, вот кабы хлеб всегда был! – опять пробормотал Этьен.

– А я что говорю? Пока хлеб есть, жить можно.

Бессмертный умолк и устремил взгляд на поселок, где уже зажигались огоньки. На колокольне в Монсу пробило четыре часа. Холод усилился.

– А богатая она, ваша Компания? – опять заговорил Этьен.

Старик вздернул плечи, потом сгорбился, словно на него обрушились мешки золота.

– Уж это да! Может, и не такая богатая, как соседняя, Анзенская компания, но ворочает миллионами, право слово, миллионами. Деньгам счету нет… Девятнадцать шахт, из них в тринадцати идет работа: Воре?, Виктуар, Кревкер, Миру, Сен-Тома, Мадлен, Фетри-Кантель и еще другие. Да шесть стволов для откачки и вентиляции. К примеру, Рекильяр… Десять тысяч рабочих. Разработки идут на землях шестидесяти семи коммун. Угля добывают по пяти тысяч тонн в сутки. Все шахты железная дорога соединяет. Да еще у Компании мастерские всякие, фабрики… Уж это да! Уж это да! Денег у нее уйма!

Послышался грохот вагонеток, прокатившихся по настилу, костлявая буланая лошадь насторожила уши. Клеть внизу, как видно, исправили и снова стали подавать на-гора пустую породу. Собираясь двинуться в обратный путь, возчик перепрягал лошадь и ласково приговаривал:

– Смотри, лодырь ты эдакий, не приучайся болтать. Влетит тебе, если господин Энбо узнает, на что ты время тратишь!

Вглядываясь в темноту, Этьен задумчиво сказал:

– Так это чья шахта? Господина Энбо?

– Нет, господин Энбо только директор, – объяснил старик. – За плату работает, как и мы.

Нервным жестом Этьен указал на беспредельную темную ширь.

– А чье же это все? Кто тут хозяева?

На возчика в эту минуту напал такой кашель, что он не мог перевести дыхание. Наконец он сплюнул, вытер с губ черную пену и громко сказал, стараясь заглушить усилившийся вой ветра:

– Что говорите? Кто тут хозяева?.. А кто его знает. Люди.

Он протянул руку, словно указывал на некое неведомое и далекое место, где пребывают эти люди, на благо которых уже более столетия вытягивали из себя жилы многие поколения бедняков Маэ. В голосе старика слышался благоговейный страх, будто он говорил о каком-то неприступном святилище, где восседает, поджав под себя ноги, тучное божество, которому углекопы приносили в жертву свою плоть и кровь, но никогда его не видели.

– Хоть бы уж хлеба-то вдоволь было, – в третий раз сказал Этьен, без всякой видимой связи с предыдущим.

– Еще бы! С хлебом и тужить нечего!

Лошадь тронулась; за нею двинулся разбитой походкой возчик, волоча больные ноги. Около рычага для опрокидывания вагонеток, весь съежившись, неподвижно сидел рабочий, уткнувшись подбородком в колени и уставив куда-то в пустоту тусклые выпуклые глаза.

Этьен подобрал узелок с пожитками, но все не уходил. Спина у него мерзла от холодного ветра, а грудь жгло у жаркого огня. А что, если все-таки сходить на шахту, попытать счастья? Откуда старику все знать? Попроситься хоть на черную работу. Теперь уж нечего разбирать. А то куда пойдешь? Ведь в здешних местах нет у людей работы, и все голодают. Сдохнешь где-нибудь под забором, как бездомный пес. И все же его брало сомнение, страшила эта Ворейская шахта, расположившаяся посреди голой низины, утопавшая во тьме. А ледяной ветер все не стихал, – наоборот, как будто усиливался с каждым порывом, словно несся из беспредельных просторов. Ни малейшего проблеска зари в мертвом небе, только языки пламени над домнами и огни коксовых батарей окрашивали тьму, не освещая того, что таилось в ней. А шахта, распластавшаяся в ложбине, как хищный зверь, припала к земле, и слышалось только ее тяжелое,

протяжное сопенье: зверь сожрал так много человеческого мяса, что ему трудно было дышать.

II

Среди пашен и свекловичных полей в густом мраке спал рабочий поселок Двести Сорок. Смутно можно было различить четыре огромных квартала; дома выстроились по обеим сторонам трех параллельных улиц, ровными рядами, как больничные корпуса или солдатские казармы, и отделены были друг от друга одинаковыми садиками. В ночной тишине на этом пустынном плато слышались только жалобные завывания ветра, прорывавшегося сквозь сломанные решетчатые изгороди.

У Маэ, – во втором квартале, в доме № 16, – никто еще не шевелился. В единственной комнате второго этажа стояла темнота, такая черная, плотная темнота, что она казалась жесткой, придавившей спящих своей тяжестью, а чувствовалось, что их много, что сон скосил их, сломленных усталостью, и они спят вповалку, с раскрытым ртом. Воздух был спертый; несмотря на холодную ночь, в комнате, нагретой дыханием людей, было тепло, но душно, как это бывает под утро даже в самых опрятных дортуарах, где тоже застаиваются запахи скученных человеческих тел.

Внизу, на первом этаже, часы с кукушкой пробили четыре. В спальне никто не шелохнулся, слышались тихое посапыванье да звучный храп в два голоса. И вдруг вскочила Катрин. По привычке она сквозь сон сосчитала четыре звонких удара, донесшихся снизу, однако сразу проснуться была не в силах. Наконец, отбросив одеяло, она свесила с кровати ноги, потом нащупала спички и, чиркнув одной, зажгла свечу. Но встать она все не могла – непреодолимо тянуло снова на подушку, и голова, словно свинцом налитая, запрокидывалась назад.

Свеча озаряла только часть спальни, квадратной комнаты в два окна, заставленной тремя кроватями. Кроме кроватей, тут был еще шкаф, стол и два старых стула орехового дерева, темными пятнами выделявшихся на фоне светло-желтых стен. Вот и вся обстановка. На гвоздях висела старая одежда; для кувшина с водой и глиняной миски, служившей тазом для умывания, место нашлось только на полу. На кровати, стоявшей слева от двери, спал старший

брат Захарий, молодой парень двадцати одного года, и средний брат Жанлен, которому еще не исполнилось одиннадцати лет; справа спали, обнявшись, двое малышей – шестилетняя Ленора и четырехлетний Анри; третью кровать занимали две сестры – Катрин и девятилетняя Альзира, – такой заморыш, что старшая сестра не чувствовала бы ее соседства, если бы девочка-калека не толкала ее своим горбом. В отворенную застекленную дверь виден был узкий, как кишка, коридор, выходивший на лестничную площадку, – тут спали родители, приставив к кровати колыбель младшей дочки, трехмесячной Эстеллы.

Катрин делала отчаянные усилия, чтобы проснуться, потягивалась, скребла голову, засунув обе руки в копну рыжеватых волос, растрепавшихся на лбу и на затылке. Слишком худенькая для своих пятнадцати лет, она казалась подростком; узкая длинная рубашка обнажала только ее посиневшие ступни, словно татуированные микроскопическими частицами угля, и хрупкие изящные руки – молочная их белизна резко отличалась от землистого цвета лица, уже испорченного зеленым мылом, которым всегда приходилось мыться; она позевывала, широко открывая довольно большой рот, так что видны были ее великолепные зубы и бледные от малокровия десны; она силилась побороть сон, и на серых ее глазах выступали слезы, лицо приняло выражение скорби и мучительной усталости, казалось, переполнявшей все ее юное тело.

Из коридора донеслось сердитое бормотание отца:

– Ох, черт! Вставать пора… Это ты огонь зажгла, Катрин?

– Да, отец… Только что пробило четыре.

– Пошевеливайся, лентяйка! Поменьше плясала бы вчера, так пораньше бы нас разбудила… А то на тебе! Каждое воскресенье на танцы! Лодыри!

Он еще что-то проворчал, но уже невнятно, сон снова одолел его, и недовольное ворчанье сменилось громким храпом.

Катрин сновала по комнате в одной рубашке, ступая босыми ногами по холодным плитам пола. Мимоходом набросила на Анри и Ленору соскользнувшее с них одеяло; они ничего не почувствовали, – оба спали глубоким детским сном. Альзира посмотрела вокруг, широко открыв глаза, и молча перекатилась в

постели на теплое местечко, нагретое старшей сестрой.

– Вставай же, Захарий! Вставай, Жанлен! – твердила Катрин, стоя у кровати братьев, но они крепко спали, уткнувшись лицом в подушку.

Она принялась трясти старшего за плечо, но он не вставал, только невнятно бранился; тогда Катрин прибегла к решительным мерам и сорвала с братьев одеяло. Они смешно задрыгали ногами, и она захохотала. Захарий наконец приподнялся и сел в постели.

– Вот дура! Отстань! – ворчал он в весьма дурном расположении духа. – Что еще за шутки! Терпеть не могу!.. Эх, жизнь собачья, вставать в этакую рань!

У Захария было тощее нескладное тело, длинное лицо, которое совсем не украшали жиденькие усики, соломенного цвета волосы, анемичная бледность, характерная для всей семьи. Рубашка у него задралась выше живота, он опустил ее – не из стыдливости, а потому, что продрог.

– Уже пробило четыре! – повторила Катрин. – Ну, живо! Отец сердится.

Жанлен, свернувшись клубочком, опять закрыл глаза:

– Убирайся! Спать хочу!

Девушка снова засмеялась веселым, ласковым смехом. Жанлен был такой маленький, щуплый, с огромными, раздутыми от золотухи суставами; сестра схватила его в охапку и подняла; он дрыгал ногами, мотал всклокоченной кудрявой головой, его обезьянье личико с торчащими ушами и узкими зелеными глазками побледнело от злости: как смеют издеваться над его физической слабостью. Не сказав ни слова, он укусил сестру в правую грудь.

– Ах, злая дрянь! – пробормотала Катрин, едва не вскрикнув от боли, и поставила мальчишку на пол.

Альзира не спала, она лежала молча, натянув одеяло до подбородка, и умным взглядом рано развившегося ребенка-калеки следила за сестрой и братьями, которые принялись одеваться. Опять у них вспыхнула ссора, на этот раз у

глиняной миски, служившей тазом для умыванья, – братья оттолкнули Катрин, найдя, что она слишком долго полощется. Они расхаживали с опухшими от сна глазами, преспокойно облегчались, не стыдясь друг друга, словно выросшие вместе щенки одного помета. Одевались торопливо. Катрин, однако, опередила братьев. Она надела шахтерские штаны, брезентовую куртку, запрятала волосы под синий колпак, – как всегда, к понедельнику все было выстирано, выглажено; в мужской одежде она походила на юношу, и только легкое покачивание бедер выдавало в ней женщину.

– Вот погоди, вернется старик, – зло сказал Захарий, – уж он тебя не поблагодарит. Постель-то не оправлена. Я ему скажу, что ты это нарочно…

Он имел в виду деда: старик Бессмертный работал в ночную смену, а ложился спать утром, так что постель никогда не остывала, – в ней постоянно кто-нибудь спал.

Катрин, не отвечая, принялась застилать постель, подоткнула одеяло под тюфяк.

Уже несколько минут за стеной, в соседней квартире, раздавался шум. Компания угольных копей строила для своих рабочих кирпичные домики весьма экономно, и стены выложили такие тонкие, что сквозь них слышно было каждое слово. Люди в поселке жили бок о бок, и интимная жизнь каждого была всем известна досконально, даже детям. Послышались тяжелые шаги, от которых тряслась лестница, потом глухой звук – кто-то бросился на постель и громко вздохнул от удовольствия.

– Здо?рово! – сказала Катрин. – Левак ушел, а к его жене Бутлу подкатился.

Жанлен захихикал, даже у Альзиры весело заблестели глаза. Каждое утро они развлекались, высмеивая соседей за их брак втроем: у забойщика Левака жил на хлебах разборщик Бутлу, и таким образом у жены Левака было два мужа – один ночной, другой дневной.

– Филомена кашляет, – сказала Катрин.

Она говорила о старшей дочери соседей, девятнадцатилетней девушке, любовнице Захария, от которого у нее уже родилось двое детей; она болела

чахоткой и была так слаба, что на шахте ее не могли поставить на подземные работы, и она работала на сортировке угля.

– Ну да, Филомена! Как бы не так! – возразил Захарий. – Она еще дрыхнет! Просто свинство спать до шести часов!

Надев штаны, он вдруг вспомнил что-то и быстро отворил окно. Поселок уже просыпался, в предрассветной тьме за решетчатыми ставнями появлялись огоньки. Снова начался спор: Захарий высунулся из окна посмотреть, не выйдет ли из дома Пьеронов, стоявшего напротив, старший штейгер, которого подозревали в любовной связи с женой Пьерона; а Катрин утверждала, что Пьерон всю эту неделю работает уже в дневную смену и, стало быть, Дансар не мог тут заночевать. Ледяной воздух клубами врывался в комнату, спорщики горячились, каждый доказывал, что его сведения самые точные, как вдруг раздался жалобный писк и плач, – малютка Эстелла озябла в своей колыбели. Маэ сразу проснулся. Да что ж это с ним делается? Подумайте, уснул опять, словно бездельник какой! И он так сердито кричал и бранился, что в соседней комнате стало тихо. Захарий и Жанлен умылись; по их вялым, медлительным движениям видно было, что они уже с утра чувствуют усталость. Альзира по-прежнему молчала, следя широко открытыми глазами за всем, что творилось вокруг. Два малыша, Ленора и Анри, невзирая на шум, поднявшийся в доме, спали сладким сном, обхватив друг друга ручонками, и тихонько посапывали.

– Катрин, дай свечку! – крикнул Маэ.

Застегнув последние пуговицы куртки, девушка отнесла свечу в закуток, где спали родители, предоставив братьям разыскивать свою одежду при слабом свете, падавшем из двери. Отец соскочил с постели. Осторожно ступая в толстых шерстяных чулках, Катрин ощупью спустилась в нижнюю комнату, чтобы сварить на плите кофе, и зажгла там другую свечу. Под буфетом стояли в ряд деревянные башмаки.

– Да замолчи ты, поганка! – крикнул Маэ, раздраженный неумолчными воплями Эстеллы.

Туссен Маэ был невысокого роста, как и отец, да и лицом походил на старика Бессмертного, только сложения был более крепкого; такая же, как у отца, крупная голова, круглое бледное лицо и такой же соломенно-желтый цвет

коротко остриженных волос. Ребенок расплакался еще сильнее, испугавшись взмахов больших жилистых рук.

– Оставь ее, ты ведь знаешь, она все равно не уймется, – сказала мать, вытягиваясь на середине постели.

Она тоже проснулась и жаловалась, что ей никогда не дают выспаться. Вот бессовестные! Шумят, орут! Не могут потихоньку собраться и уйти. Она закуталась в одеяло, видно было только ее продолговатое лицо с крупными чертами, все еще красивое грубоватой красотой; в тридцать девять лет она уже поблекла – виной тому были нищенская жизнь и рождение семерых детей. Устремив взгляд в потолок, она вела невеселую беседу с мужем, пока тот одевался. И оба не замечали, что крошка Эстелла зашлась от крика.

– Слушай, у меня ни гроша, а ведь нынче только еще понедельник, до получки шесть дней… Как жить дальше будем? Вы все вместе приносите домой девять франков. Разве можно на эти деньги кормиться две недели? Ведь дома-то десять ртов.

– Постой, почему же девять франков? – возразил Маэ. – Я и Захарий – по три франка, вдвоем, значит, шесть. Катрин и отец по два франка, вдвоем – четыре. Четыре да шесть – десять. Да Жанлен один франк, – стало быть, всего одиннадцать франков.

– Верно, одиннадцать. А воскресенья? А те дни, когда у вас простой? Больше девяти франков на круг никогда не приходится.

Маэ не ответил, отыскивая упавший на пол кожаный пояс. Потом, выпрямившись, сказал:

– Нам жаловаться нечего, я как-никак еще крепок здоровьем. А разве мало забойщиков в мои годы переводят в ремонтные рабочие?

– Может, оно и так, а хлеба у нас от того не прибавляется… Ну, как мне вывернуться, скажи? У тебя нисколько нет?

– Два су найдется.

– Оставь их себе, выпьешь кружку пива… Боже ты мой, как мне вывернуться? Шесть дней! Будто целый год! В лавку Мегра мы должны шестьдесят франков. Он меня позавчера выставил за дверь. Я, понятно, все равно опять к нему пойду. А что, если он заупрямится и не даст ничего?..

И все так же угрюмо, с каменным лицом, лишь щурясь иногда от дрожащего, унылого пламени свечи, жена Маэ продолжала свои сетования. Она говорила, что в буфете у них пусто, а малыши просят «хлебушка с маслом», и кофе нет, а если пустую воду пьешь, – от здешней воды рези в животе делаются. Долго дни тянутся, когда нечего есть, кроме вареной капусты. Ей приходилось говорить все громче – Эстелла заглушала своим визгом слова матери. Вопли эти стали просто нестерпимыми. Маэ как будто внезапно услышал их и, выхватив малютку из колыбели, бросил матери на кровать, раздраженно пробормотав:

– На, возьми, а не то я ее пристукну! Вот чертова девчонка! Живет себе, спит, сосет сколько хочет, а жалуется громче всех.

Эстелла и в самом деле принялась сосать. Укрытая одеялом, согревшись в теплой постели, она утихла и только жадно чмокала.

– А господа из Пиолены не говорили, чтобы ты зашла к ним? – спросил Маэ после минутного молчания.

Мать прикусила губу и с унылым видом ответила:

– Говорили. Они со мной встретились, когда приходили в поселок, – бедным детям одежду принесли. Нынче я сведу к ним Ленору и Анри. Хоть бы дали нам пять франков!

Опять настало молчание. Маэ уже оделся. Он постоял, задумавшись, потом сказал глухим голосом:

– Ну, что я могу сделать? Так вот получилось. Устраивайся как-нибудь с кормежкой… Словами горю не поможешь. Лучше уж на работу идти.

– Ну, конечно, – ответила жена. – Задуй-ка свечу, я и без света знаю, какие у меня черные думки.

Маэ задул свечу. Захарий и Жанлен уже спускались по лестнице; вслед за ними сошел вниз и отец; ступени поскрипывали под их тяжелыми шагами, хотя у всех троих на ногах были только толстые шерстяные чулки. Спальня и коридор наверху снова погрузились в темноту. Малыши спали, даже у Альзиры сомкнулись веки. Но мать лежала во мраке с открытыми глазами, малютка Эстелла, прильнув к ее опавшей груди, мурлыкала, как котенок.

А внизу Катрин прежде всего развела огонь в чугунной печке с решеткой посредине и двумя конфорками по бокам, – в этом очаге непрерывно горел каменный уголь. Компания выдавала каждой семье восемь гектолитров «угольной мелочи», собранной на рельсовых путях. Разжечь ее бывало трудно, и Катрин каждый вечер прикрывала золой тлеющий огонь, так что утром нужно было только поворошить жар и подбросить в него кусочки старательно отобранного мягкого угля. Поставив на плиту кофейник, она отворила дверцы буфета и, присев на корточки, заглянула в него.

Комната, довольно большая, занимала весь нижний этаж; стены были выкрашены в салатный цвет, пол из каменных плит старательно вымыт и посыпан белым песком. Все содержалось с чисто фламандской опрятностью. Обстановка состояла из соснового полированного буфета, стола и стульев того же дерева. На светлых голых стенах резко выделялись яркие лубочные картинки: бесплатно раздававшиеся Компанией портреты императора и императрицы, бравые солдаты и блистающие золотом святые; кроме розовой картонной коробки, стоявшей на буфете, да стенных часов с кукушкой и размалеванным циферблатом, никаких украшений не было; громкое тиканье часов, казалось, поднималось к потолку. Около двери на лестницу была еще одна дверь, которая вела в подвал. Несмотря на опрятность, царившую тут, теплый воздух был пропитан запахом жареного лука, застоявшимся со вчерашнего дня, и едким запахом перегоревшего каменного угля.

Сидя на корточках перед буфетом, Катрин размышляла. Осталась лишь краюха хлеба, творогу достаточно, а масла чуть-чуть, бутерброды же надо сделать на четверых. Наконец она нашла выход: разрезать хлеб на ломти, на один ломоть надо положить творогу, другой слегка помазать маслом, потом два эти ломтя сложить вместе – получится «брусок», то есть двойной бутерброд, – такие бутерброды они каждое утро брали с собою на работу. Вскоре на столе уже лежали в ряд четыре бутерброда, выкроенные со строгой справедливостью: самый большой – отцу, самый маленький – Жанлену.

Катрин, казалось, всецело была поглощена хозяйственными заботами, однако не забывала, что ей рассказывал Захарий о похождениях штейгера Дансара и жены Пьерона, и, приоткрыв дверь, выглянула на улицу. Ветер свирепствовал по-прежнему; в окнах низких домиков все больше зажигалось огней, по всему поселку проносился смутный гул пробуждения. Отворялись и захлопывались двери, в сумраке уходили вдаль вереницы черных фигур. Да что это она, глупая, мерзнет тут! Пьерон, наверно, преспокойно спит, ему заступать на работу в шесть часов. И все же она не отходила от порога, смотрела на тот дом, что стоял за их палисадником. Отворилась дверь, у Катрин разгорелось любопытство. Да нет, – это Лидия, дочка Пьерона, пошла на шахту.

В комнате что-то зашипело. Катрин испуганно обернулась и, притворив дверь, бросилась к очагу: вода вскипела и выплескивалась из котелка, заливая огонь. Кофе в доме кончился, пришлось заварить кипятком вчерашнюю гущу; затем Катрин подсластила эту бурду, положив в кофейник немного сахарного песку. Тут как раз сошли вниз отец и оба брата.

– Ну и кофеек! – возмутился Захарий, отхлебнув из своей кружки. – От такого пойла бессонницей маяться не будешь.

Маэ с покорным видом пожал плечами.

– Ничего! Горяченького попьем, и то ладно.

Жанлен подобрал все крошки от бутербродов и кинул их в свою кружку с кофе.

Напившись кофе, Катрин разлила остатки по жестяным флягам. Стоя у стола, все четверо торопливо ели при тусклом свете коптившей свечи.

– Скоро вы наконец? – заворчал отец. – Некогда прохлаждаться, не богачи мы с вами.

Из лестничной клетки, дверь которой оставили открытой, послышался голос матери, – она крикнула им:

– Хлеб-то весь берите. Для детей у меня есть немного вермишели.

– Хорошо, хорошо, – ответила Катрин.

Она прикрыла золой жар в очаге, поставила на конфорку кастрюлю с остатками супа, чтобы дед, возвратившись в седьмом часу утра, поел горячего. Каждый взял из-под буфета свою пару деревянных башмаков, перекинул через плечо бечевку, на которой висела фляга, засунул бутерброд под куртку так, чтоб он лежал за спиной. И все вышли из дому, – мужчины впереди, Катрин позади них; уходя, она погасила свечу и заперла дверь на ключ.

– Здоро?во! В компании, значит, пойдем, – раздался в темноте мужской голос, и обладатель его, заперев дверь соседнего дома, зашагал вместе с ними.

Это вышел Левак и с ним его сын Бебер – парнишка двенадцати лет, большой приятель Жанлена. Катрин удивленно и, едва не фыркая от смеха, зашептала на ухо Захарию:

– Это что же? Бутлу, значит, теперь и не дожидается, когда Левак уйдет?

Меж тем в поселке гасли огни. Кто-то хлопнул напоследок дверью. И вновь все стихло. Женщины и малые дети уснули: в постелях им стало теперь просторнее. И по дороге от поселка, погрузившегося во тьму, до громко дышавшей шахты двигались черные тени – то шли на работу углекопы; сгибаясь под порывами ветра, они шагали враскачку, ежась от холода, засовывали руки в карманы или под мышки; у каждого на спине горбом выпячивался взятый из дому «брусок». Все мерзли в жиденькой одежде, дрожали от холода, но никто не прибавлял шагу. Шествие растянулось вдоль дороги. Слышался дробный топот, будто гнали по мостовой стадо.

III

Этьен наконец спустился с террикона и вошел в ворота шахты; люди, у которых он спрашивал, не найдется ли для него работы, покачивали головами и советовали подождать старшего штейгера. Никто его не останавливал, он свободно бродил среди слабо освещенных бараков, обходя какие-то черные ямы, вызывавшие невольное беспокойство, и удивляясь запутанному расположению

странных построек в несколько ярусов; поднявшись по темной полуразрушенной лестнице, он очутился на шатком мостике, потом прошел через сортировочную, где стояла такая тьма, что он шел, вытянув вперед руки, боясь на что-нибудь наткнуться. Вдруг перед ним во мраке загорелись два огромных желтых глаза. Он оказался под самым копром, на приемной площадке, около ствола шахты.

Как раз в эту минуту к будке приемщика направлялся штейгер, дядя Ришом, толстяк с физиономией благодушного жандарма, перечеркнутой седыми усами.

– Не требуется ли здесь человек? На любую работу согласен, – сказал Этьен.

Ришом хотел было сказать: «Нет, не требуется», – но передумал и мимоходом ответил:

– Подождите старшего штейгера, господина Дансара.

Четыре ярких фонаря с рефлекторами, направляя сноп света на ствол шахты, ярко освещали железные перила, рычаги сигналов и задвижки, брусья проводников, по которым скользили две клети. Вся остальная часть помещения, просторного и высокого, как собор, тонула в полумраке, где колыхались большие расплывчатые тени. Только в глубине сверкала огнями ламповая, а в будке приемщика одинокой угасающей звездой мерцала тусклая лампочка. Начали уже выдавать уголь на-гора; с непрерывным грохотом катились по чугунным плитам груженые вагонетки, их толкали стволовые, низко наклоняясь и вытягивая спину; в полумраке двигались, мелькали и стучали какие-то черные предметы.

Этьен на мгновенье остановился, растерявшись от оглушительного шума и ослепительного света. Ему было холодно: отовсюду дули сквозняки. Потом он прошел немного дальше, заметив блеск стальных и медных частей паровой машины. Она находилась метрах в двадцати пяти от ствола шахты, в еще более высоком помещении, и так прочно, так плотно сидела на кирпичном фундаменте, что, хоть и была пущена на полную мощность в четыреста лошадиных сил, не ощущалось ни малейшей вибрации стен; непрестанно поднимаясь и опускаясь, ровно и плавно двигался огромный шатун.

Машинист, стоявший у пускового рычага, прислушивался к сигнальным звонкам, не сводя глаз с доски указателей, где ствол шахты со всеми ее горизонтами был

изображен в виде вертикального желобка, по которому двигались на веревочках свинцовые грузила, изображавшие клети. И лишь только подъемник пускали в ход, два огромных барабана в пять метров радиусом, на которые наматывались, а в противоположном направлении разматывались два стальных троса, вращались с такой быстротой, что казались столбами серой пыли.

– Берегись! – крикнули рабочие, втроем тащившие высокую лестницу.

Этьена чуть не раздавило. Постепенно его глаза привыкли к полумраку. Посмотрев вверх, он увидел, как бегут тросы: более тридцати метров стальной ленты взлетали к самой верхушке копра, проходили там через шкивы и падали отвесно в ствол шахты, где двигались клети, висевшие на этих тросах. Шкивы держались на мощных стропилах, похожих на переплеты балок в церковной колокольне. Тросы скользили, как птицы, бесшумно, мягко, без малейшего толчка, – быстро, непрерывно бежал тяжелейший стальной канат, который мог поднимать груз в двенадцать тысяч килограммов со скоростью до десяти метров в секунду.

– Берегись, растяпа! – опять закричали рабочие, перетаскивавшие лестницу на другую сторону, чтобы осмотреть левый шкив.

Этьен медленно побрел обратно, в приемочную. У него закружилась голова от непрерывного полета гигантского троса, проносившегося над его головой, ушам было больно от грохота вагонеток. Дрожа от холода на сквозняке, он смотрел, как двигаются клети. Возле ствола шахты действовал сигнал, тяжелый молоток с рычагом, ударявший о чугунную болванку, когда снизу дергали веревку. Один удар – остановка клети, два удара – спуск, три удара – подъем; сигналы раздавались беспрестанно: казалось, перекрывая гул и грохот, тяжелой палицей бил великан, и при каждом ударе пронзительно звенел звонок; рукоятчик, направлявший клеть, еще подбавляя шуму, выкрикивал в рупор приказания машинисту. В грохоте и суматохе бесшумно взлетали и ныряли вниз клети, разгружались и вновь заполнялись. Этьен смотрел и не мог разобраться в этом сложном маневрировании. Понятно ему было только одно: шахта за раз проглатывала по двадцать, по тридцать человек, проглатывала так легко, будто и не чувствовала, как они проскальзывают в ее пасть. Спуск начался с четырех часов утра. Рабочие выходили из раздевальни босые, с лампами в руках и, стоя кучками, поджидали, когда наберется достаточно людей. Скользя неслышно, словно ночной зверь, из мрака поднималась железная клеть и останавливалась, утвердившись на упорах, показывая все свои четыре яруса, – в каждом из них

стояли по две груженные углем вагонетки.

Стволовые, стоя на площадках у каждого яруса, выкатывали груженые вагонетки, вкатывали на их место пустые или заранее нагруженные крепежным лесом. В пустые вагонетки садились рабочие, в каждую по пять человек, – в клеть набивалось по сорок человек, если все ее отделения бывали заполнены. Подавался в рупор приказ, звучавший как невнятное мычание, четыре раза дергали веревку, тянувшуюся вниз, предупреждая о погрузке «говядины» – новой партии человеческого мяса.

Легонько подпрыгнув, клеть бесшумно ныряла и камнем летела вниз, оставляя за собою единственный след – вибрирующее скольжение стального троса.

– Глубоко там? – спросил Этьен углекопа, который стоял возле него и с сонным видом ждал своей очереди.

– Пятьсот пятьдесят четыре метра, – ответил тот. – Но при спуске четыре горизонта, до первого – триста двадцать метров.

Оба умолкли, устремив глаза на трос, бежавший вниз. Этьен спросил:

– А если трос оборвется?

– Ну, если оборвется!..

И, не договорив, углекоп выразил свою мысль жестом. Пришла его очередь; клеть выплыла вверх плавно, без усилий.

Углекоп сел на корточки в вагонетку вместе с товарищами, клеть опустилась вниз, а через четыре минуты опять взлетела вверх и поглотила новую партию. В течение получаса ствол шахты, то с большей, то с меньшей быстротой, в зависимости от глубины горизонта, но безостановочно, с неослабевающей жадностью проглатывал людей, стремясь набить исполинскую утробу шахты, способную пожрать целый народ. Ее наполняли, наполняли, а мрак все оставался мертвым, и клеть поднималась из пустоты все с той же немой алчностью.

Постепенно к Этьену подкралось чувство отчаяния, которое он испытал на терриконе. К чему упорствовать? Главный штейгер откажет ему так же, как и другие. Смутный страх погнал его прочь, он вышел из приемочной и остановился только у котельной. В широко открытую дверь видны были семь паровых котлов с двумя топками. Кочегар, окутанный белой дымкой пара, со свистом вырывавшегося из трубок, кидал уголь в одну из топок; ее пылающая пасть дышала таким жаром, что он чувствовался даже у порога. Обрадовавшись случаю погреться, Этьен хотел подойти поближе, но навстречу ему попалась новая кучка углекопов, спешивших к началу смены, – семейство Маэ и Леваки. Увидев доброе мальчишеское лицо Катрин, которая шла впереди этой группы, Этьен вдруг решил в последний раз попытать счастья:

– Скажите, товарищ, не нужен ли тут человек? Я бы на любую работу пошел.

Катрин посмотрела на него, удивленная и несколько испуганная этим окликом, внезапно раздавшимся из темноты. Но отец, шагавший вслед за нею, услышал вопрос и, остановившись, ответил Этьену, что на шахте рабочих не требуется. Горемыка, скитавшийся по дорогам в поисках работы, вызвал в нем сочувствие. Отойдя от него, Маэ заметил:

– Вот ведь как! И с нами такая же беда могла бы стрястись. Значит, нам жаловаться нечего. Не у всех, да, не у всех есть работа!

Маэ и его артель сразу же направились в раздевальню – просторный барак, где по стенам шли запиравшиеся на замок шкафчики для одежды. Посредине стояла докрасна накалившаяся чугунная печка без дверцы, до того набитая углем, что горевшие куски его, лопаясь с треском, выпадали на глинобитный пол. Иного освещения, кроме света от жаровни, в бараке не было; багряные отблески огня плясали на грязных деревянных стенах и на потолке, покрытом черной угольной пылью.

Когда артель Маэ вошла в жарко натопленный барак, там гремел оглушительный хохот. Человек тридцать рабочих стояли у печки, спиной к огню, и с удовольствием грелись. Перед спуском все старались хорошенько «прожариться» и захватить с собою запас тепла, в защиту от сырости, царящей в шахте. В то утро у печки было необыкновенно весело: углекопы потешались над Мукеттой – незлобивой восемнадцатилетней откатчицей, такой грудастой и широкобедрой, что ее шахтерские штаны и куртка чуть не трещали по швам; она жила в Рекильяре вместе с отцом, старым конюхом Муком, и братом Муке,

рукоятчиком, но все трое работали в разные смены; Мукетта ходила на шахту одна и летом в хлебах, а зимою где-нибудь на задворках развлекалась с любовником, заводя каждую неделю нового. Все шахтеры перебывали в этой роли, но перемены обходились по-приятельски, без всяких драм. Однажды Мукетту укорили, зачем она взяла себе возлюбленного с гвоздильного завода, и она пришла в ярость, кричала, что она себя уважает и готова дать руку на отсечение, что никто не докажет, будто она изменила углекопам и перекинулась к другим.

– Так, значит, долговязому Шавалю ты отставку дала? – говорил один из шахтеров. – Взяла теперь карапуза? Да ведь ему придется лестницу подставлять. Я вас видел за Рекильяром. Ей-богу, он на тумбу взобрался, чтобы до тебя дотянуться.

– Ну и что? – ответила Мукетта в самом веселом расположении духа. – Какое твое дело? Ведь тебя в толкачи не позвали?

Ее благодушная грубость вызвала новый взрыв смеха. Мужчины, греясь у печки, гоготали так, что у них ходуном ходили плечи. Мукетта и сама тряслась от хохота, прохаживаясь среди них в непристойной при ее толщине мужской одежде, обтягивавшей возбуждающие и комически пышные формы, раздувшиеся до уродства.

Но вдруг веселые шутки смолкли. Мукетта рассказала Маэ, что Флоранса, высокая откатчица Флоранса, не пришла и больше уж никогда не придет: вчера ее нашли мертвой на постели; одни говорят – разрыв сердца, а другие – что опилась можжевеловой водкой, выпила одним духом целый литр. Маэ жаловался: опять не повезло, артель лишилась одной из своих откатчиц, а ведь сразу-то ее не заменишь. Артель работала сдельно: четыре забойщика – он сам, Захарий, Левак и Шаваль; если откатывать станет только Катрин, выработка будет меньше. Вдруг он воскликнул:

– Погодите-ка, а тот человек, что искал работы?

Как раз мимо дверей проходил Дансар. Маэ рассказал ему о случившемся и попросил разрешения нанять откатчика; он упирал на желание Компании брать на откатку угля мужчин вместо женщин, как на Анзенских копях.

Старший штейгер сперва усмехнулся, – намерение убрать женщин с подземных работ обычно вызывало негодование углекопов: для них важно было пристроить своих дочерей на работу, а вопросы морали и гигиены их не слишком беспокоили. Поколебавшись, штейгер все-таки дал разрешение, с оговоркой, что представит его на утверждение инженера Негреля.

– Пойди-ка поищи этого парня: его и след простыл, – заявил Захарий.

– Нет, – возразила Катрин. – Я видела, он остановился у котельной.

– Так ступай приведи его, лентяйка! – крикнул Маэ.

Девушка побежала, а в это время толпа шахтеров направилась в приемочную, уступив место у печки другим. Жанлен, не дожидаясь отца, пошел за лампой вместе с Бебером, толстым, простодушным подростком, и Лидией, худенькой десятилетней дочкой Пьерона. Мукетта, поднимавшаяся по темной лестнице впереди них, вскрикивала, ругала их чертенятами и грозила надавать им затрещин, если они не перестанут ее щипать.

Этьен действительно был в котельной и разговаривал с кочегаром, шуровавшим уголь в топках. От одной мысли, что придется опять выйти на холод, в темноту, его мороз по коже подирал. Все же он решил было отправиться дальше, как вдруг кто-то тронул его за плечо.

– Пойдемте, – сказала Катрин. – Кое-что для вас нашлось.

Этьен сперва не понял. Потом в порыве радости крепко пожал девушке обе руки.

– Спасибо, товарищ!.. Вот славный малый!

Катрин, смеясь, разглядывала его при багряном свете, падавшем на них из пылающих топок. Этой тоненькой, хрупкой девушке, запрятавшей косы под синий колпак, было смешно, что ее принимают за молодого парня. Этьен же смеялся от радости, и так они с минуту стояли друг против друга и хохотали, раскрасневшись от жары.

В раздевальне Маэ, присев у своего шкафчика, снимал с ног деревянные башмаки и толстые шерстяные чулки. Пришел Этьен, и они обо всем договорились в двух словах: плата тридцать су в день, работа тяжелая, но можно скоро научиться и продвинуться. Забойщик посоветовал новому откатчику не снимать башмаков и дал ему старую «баретку» – кожаную шляпу для защиты головы, хотя сам Маэ и его дети пренебрегали этой предосторожностью. Вынули из шкафчика инструменты, – среди них была и лопатка Флорансы. Когда заперли в шкаф башмаки и чулки, а заодно и узелок Этьена, Туссен Маэ вдруг вышел из себя:

– Да куда девался этот дурень Шаваль? Опять поди путается с какой-нибудь девкой! А мы и так нынче на полчаса опоздали.

Захарий и Левак продолжали спокойно греться у печки. Наконец Захарий сказал:

– Ты Шаваля ждешь? Да он раньше нас пришел и уже спустился.

– Чего же ты молчал до сих пор?.. Ну пошли, пошли! Живо!

Катрин еще немного погрела руки у печки, потом побежала вдогонку за своими. Этьен пропустил ее вперед и пошел вслед за нею. Вновь ему пришлось совершить целое путешествие по лабиринтам лестниц и темных коридоров, где босые ноги шлепали по доскам, словно были обуты в старые домашние туфли. Но вот засверкала ламповая – застекленная комната, загроможденная стойками, на которых выстроились в несколько этажей шахтерские лампочки Деви, осмотренные и вычищенные накануне, горевшие плотными рядами, как свечи в церкви на торжественных похоронах. Каждый подходил к окошечку, получал лампу, на которой был выбит его номер, и, осмотрев ее сам, закрывал предохранительную сетку, а отметчик вписывал в реестр время спуска. Маэ попросил лампу для нового откатчика. Затем шахтеры подвергались, осторожности ради, еще одной проверке: они гуськом подходили к контролеру, и тот смотрел, хорошо ли у каждого закрыта ламповая сетка.

– Ой, холод собачий! – пробормотала Катрин, дрожа всем телом.

Этьен молча кивнул головой. Они уже стояли у ствола шахты, посреди просторной приемочной, по которой гуляли сквозняки. Этьен считал себя смелым человеком, и все же у него щемило сердце от какого-то неприятного

волнения среди этого грохота вагонеток, резких ударов сигнального молотка, гулкого воя рупоров, безостановочного мельканья стальных тросов, которые пролетали в воздухе, разматывались, наматывались на барабаны подъемной машины. Клети возносились вверх, спускались, скользя неслышно, как хищные звери, хватающие людей во мраке ночи, и черная пасть шахты как будто проглатывала добычу. Подходила очередь и Этьена. Его пробирала дрожь, он замер в напряженном молчании. Захарий и Левак насмехались над ним, – обоим не нравилось, что наняли какого-то незнакомого парня; особенно недоволен был Левак, обижаясь, что Маэ не посоветовался с ним. Катрин, наоборот, радовалась, что отец внимателен к новичку и все ему объясняет.

– Вот поглядите, – над клетью виден предохранитель – он не даст ей упасть: если тросы оборвутся, стальные крючья тогда вопьются в проводники. Приспособление, конечно, хорошее. Действует! Но не всегда помогает… А вот еще поглядите – пролет ствола разделен дощатыми перегородками на три части: посредине ходят клети, слева устроены запасные лестницы…

И, прервав пояснения, он заворчал, не осмеливаясь, однако, очень повышать голос:

– Да чего мы тут торчим? Дьявольщина какая! Зря людей морозят!

Вместе с ними поджидал спуска и штейгер Ришом в кожаной шляпе, с прикрепленной к ней шахтерской лампой без сетки. Он услышал недовольное ворчанье забойщика.

– Осторожнее! Кругом уши! – сказал он вполголоса отеческим тоном, как бывший углекоп, по-прежнему желающий добра товарищам. – Надо по порядку дело делать… Ну вот и нам подали карету. Залезайте всей артелью.

В самом деле, клеть, защищенная полосами листового железа и железной мелкой сеткой, уже ждала их, осев на упоры. Маэ, Захарий, Левак и Катрин живо забрались в вагонетку, стоявшую в глубине клети, а так как в каждой вагонетке полагалось ехать пятерым, в нее сел и Этьен; но удобные места были заняты, ему пришлось сесть скорчившись возле Катрин, и ее локоть упирался ему в живот. Лампа мешала Этьену, ему посоветовали прицепить ее к петлице куртки. Не расслышав совета, он по-прежнему держал ее неловко в руке. В верхний и нижний этаж клети тоже набивались люди, шла суматоха, словно грузили скот.

Ну, все готово. Можно спускаться. Чего же стоят? Этьену ожидание казалось бесконечным. Но вот – внезапный толчок, клеть дрогнула и понеслась вниз. У Этьена сжалось сердце, засосало под ложечкой от жуткого чувства – он падал в пропасть. Так было, пока он проносился на свету через два яруса приемочной и вокруг кружились и убегали вверх толстые балки. Потом клеть полетела в черную тьму, и ошеломленный Этьен больше не отдавал себе отчета в своих ощущениях.

– Ну, поехали! – спокойно и добродушно сказал Маэ.

Все чувствовали себя непринужденно. А Этьен мгновениями сам не знал, поднимается он или спускается. Когда клеть неслась совершенно прямо, не касаясь проводников, ему чудилось, что она не двигается, а затем вдруг ее толкало, встряхивало, она как будто плясала между балками, и Этьен все ждал катастрофы. К тому же он не мог различить стенки ствола, как ни вглядывался в темноту, приникнув лицом к решетке клети. Шахтерские лампы плохо освещали фигуры людей, сгрудившихся около него. И только лампа штейгера, без защитной сетки, сияла в соседней вагонетке, как фонарь маяка.

– Шахтный ствол в поперечнике имеет четыре метра, – продолжал Маэ просвещать Этьена. – Сруб надо бы отремонтировать, а то со всех сторон вода сочится… Вот сейчас мы на уровне капежа. Слышите?

Этьен как раз задался вопросом, что за странный шум, похожий на плеск дождя, слышится в темноте. По крыше клети застучали крупные капли, как будто пошел проливной дождь, и в самом деле начался ливень, он становился все сильнее, сильнее – настоящий потоп! Должно быть, крыша клети прохудилась, – струя воды лилась Этьену на плечо, и вскоре он промок до нитки. Холод стал ледяной, клеть неслась в сырой тьме; на мгновенье засверкал свет, промелькнули какие-то видения: вот показалась пещера, в ней при блеске молнии суетятся люди. И снова клеть несется куда-то в бездну.

Маэ сказал:

– Это первый горизонт. Глубина триста двадцать метров. Поглядите, как быстро опускаемся. – Подняв лампу, он осветил брусья проводников, бежавшие, как рельсы, под колесами поезда, который мчится на всех парах, а за этими балками не видно было ничего. Промелькнули в мгновенном свете еще три горизонта. И

снова мрак и оглушительный шум проливного дождя.

– Глубоко-то как! – пробормотал Этьен.

Падение в пропасть, казалось ему, длится долгие часы. Он сидел в очень неудобной позе, не смея шевельнуться, а тут еще локоть Катрин больно вонзился ему в бок. Она не произносила ни слова, он только чувствовал ее близость, теплота ее плеч согревала его. Когда клеть остановилась наконец на дне ствола, Этьен страшно удивился, узнав, что спуск занял всего одну минуту. От стука вставших на место упоров, от ощущения твердой почвы под ногами ему вдруг стало очень весело, и он шутливо спросил Катрин:

– Отчего это ты такой горячий? А локтем ты мне дырку провертел, честное слово!

Скажите пожалуйста, все еще за парня ее принимает! И Катрин тоже развеселилась. Вот дурень! Ослеп он, что ли?

– Да тебе, наверно, моим локтем не бок, а глаза продырявило, – ответила она. И Этьен не мог понять, почему все кругом хохочут.

Клеть опустела. Рабочие прошли через рудничный двор – большую галерею, высеченную в твердой породе; ее сводчатая кровля была укреплена каменной кладкой, тут ярко горели большие лампы без предохранительной сетки. По чугунным плитам пола стволовые торопливо катили полные вагонетки угля. От стен тянуло запахом сырого погреба, селитры, но в холодном, промозглом воздухе проносились струи тепла из соседней конюшни. Отсюда открывались зиявшие пролеты четырех горных выработок.

– Вон туда, – сказал Маэ Этьену. – Не думайте, нам еще добрых два километра идти.

Рабочие расходились группами в разные стороны, исчезали в глубине черных нор. Человек пятнадцать свернули налево, Этьен шел последним, позади Маэ; впереди двигались Катрин, Захарий и Левак. То был превосходный квершлаг для откатки, проложенный в такой твердой породе, что его лишь кое-где потребовалось укрепить каменной кладкой. Люди двигались вереницей, все шли молча; в темноте чуть светились огоньки шахтерских ламп. Этьен с непривычки

спотыкался на каждом шагу, ушибал ноги о рельсы. Его беспокоил какой-то странный шум, похожий на громыхание отдаленной грозы, шум этот все возрастал и как будто доносился из недр земли. Может быть, это грохот обвала и сейчас на людей обрушится вся толща земли, отрезавшая их от сияния солнца. Вдруг бледный свет пронизал густую тьму. Этьен почувствовал, как дрожит почва под его ногами, и когда он, по примеру товарищей, прижался к стене, мимо них прошла большая белая лошадь, тащившая целый поезд из вагонеток. На первой, держа в руках вожжи, сидел Бебер, а за последней, ухватившись обеими руками за борт, бежал Жанлен, быстро перебирая босыми ногами.

Потом двинулись дальше. Дошли до перекрестка, от которого отходили два штрека, и тут группа вновь разделилась: рабочие постепенно разбрелись по всем выработкам горизонта. Теперь откаточный штрек местами одевала сплошная дощатая обшивка, дубовые столбы подпирали кровлю, поддерживая неустойчивые стенки выработки настоящим частоколом, сквозь который виднелись пласты сланца с блестками слюды и корявые тусклые глыбы песчаника. То и дело навстречу друг другу, громыхая, двигались поезда из порожних или груженых вагонеток и исчезали в темноте, вслед за смутно видневшимся силуэтом лошади, трусившей мелкой рысцой.

На разминовке дремал на запасном пути поезд, вытянувшись черной змеей; фыркала запряженная в него вороная лошадь, ее круп, едва заметный во тьме, казался глыбой, упавшей с каменного свода. Хлопали, отворяясь, а затем медленно затворялись вентиляционные двери. Чем дальше, тем уже и ниже становился штрек и все более неровной делалась кровля; людям все время приходилось нагибаться.

Этьен так сильно ударился головой о камень, что, не будь на нем кожаной шляпы, раскроил бы себе череп. А ведь он внимательно следил за движениями Маэ, который шел впереди, выделяясь при свете лампочек черным силуэтом. Ни один из рабочих не ушибался, – должно быть, они знали тут каждый бугорок, каждый сучок в стойках и все выступы породы. Этьен мучился еще и от того, что скользко было идти по мокрой, расползавшейся под ногами почве выработки. Иной раз приходилось перебираться через настоящие лужи, о которых давали знать только фонтаны грязных брызг, взлетавших из-под ног. Но его особенно удивляли внезапные изменения температуры. У подошвы ствола было очень прохладно, в главном квершлаге, по которому шла и основная струя воздуха вентиляции, дул ледяной ветер, достигавший силы урагана в узких каменных коридорах. А когда шли в боковых штреках, получавших лишь полагавшуюся им

долю вентиляционной струи, ветер спадал, и воцарялась удушливая, тяжелая, гнетущая жара.

Маэ больше не открывал рта. Он свернул направо, в новую выработку и, не оборачиваясь, бросил Этьену:

– Гильомов пласт.

На этом пласте и находился их забой. С первых же шагов Этьен ушиб себе голову и локти. Покатая кровля нависла так низко, что метров двадцать – тридцать пришлось идти, пригнувшись к самой земле. Вода доходила до щиколоток. Так прошли двести метров, и вдруг Левак, Захарий и Катрин исчезли, словно улетучились сквозь узкую расщелину, открывшуюся в стене.

– Тут подниматься надо, – сказал Маэ. – Прицепите лампу к петле куртки и хватайтесь руками за стойки крепления.

И он исчез в расщелине. Этьен двинулся вслед за ним. Щель, рассекавшая пласт, предназначалась для прохода углекопов и соединяла все промежуточные штреки. Ширина ее, соответствовавшая толщине угольного пласта, едва достигала шестидесяти сантиметров. По счастью, Этьен был худощав, да и то по своей неловкости он, карабкаясь вверх, затрачивал слишком много мускульной энергии, старался сделаться плоским, как лист бумаги, и, хватаясь за стойки, подтягивался на руках. Метров на пятнадцать выше оказался первый промежуточный штрек, но пришлось пробираться еще выше – к забою Маэ и его товарищей вел шестой штрек, проложенный, как они говорили, в самом аду; итак, через каждые пятнадцать метров расположены были один над другим штреки; конца не было этому медленному, мучительному подъему. Этьен ушибался, ударяясь то спиной, то грудью, натужно хрипел, словно каменные недра шахты сдавили ему все тело, у него саднило руки, подкашивались ноги, а главное, ему не хватало воздуху, он задыхался и чувствовал, что вот-вот у него хлынет носом кровь. В одном из штреков он смутно различил в полумраке двух пещерных зверюг – одну большую, другую маленькую, которые, согнувшись, толкали вагонетки, – то были Лидия и Мукетта, уже принявшиеся за работу. А ему нужно было карабкаться еще выше, миновать еще два штрека! Пот затекал в глаза, слепил его, Этьен терял надежду догнать остальных, слыша, как они ловко скользят по камню в узкой щели.

– Смелей! Добрались! – раздался голос Катрин.

Но когда они и в самом деле добрались, из забоя раздался сердитый голос:

– Вы что же? Смеетесь над людьми? Мне из Монсу два километра отмахать надо, а я тут первым оказался!

Это ворчал Шаваль, долговязый парень лет двадцати пяти, худой, костлявый, с крупными чертами лица. Заметив Этьена, он спросил с презрительным удивлением:

– А это еще кто такой?

Маэ рассказал о случившемся, и Шаваль процедил сквозь зубы:

– Вот оно как! Стало быть, нынче парни у девок хлеб отбивают!

Этьен и Шаваль обменялись взглядом, полным инстинктивной, внезапно вспыхнувшей ненависти. Этьен почувствовал оскорбление, еще не поняв смысла слов. Наступило молчание: все принялись за дело. Разработки постепенно наполнились людьми, началась добыча на каждом горизонте, на каждом уступе, в конце каждого штрека, в каждом забое. Шахта поглотила ежедневную порцию людей – около семисот углекопов, и теперь они трудились в этом гигантском муравейнике, дырявили землю со всех сторон, сверлили ее, как черви точат старое дерево. И среди тягостного молчания, среди гнетущей тишины, царящей в глубоких недрах земли, можно было бы, прильнув ухом к каменной стене какой-нибудь выработки, услышать шорох, движение этих людей-насекомых, скольжение стальных тросов, что поднимали и спускали клеть, и удары инструментов, вырубавших уголь в глубоких забоях.

Повернувшись, Этьен снова нечаянно прижался к Катрин. На этот раз он почувствовал округлость девичьей груди и сразу понял, почему его так пронизывало тепло, исходившее от нее.

– Так ты, значит, девушка? – растерянно пробормотал он.

И, нисколько не смущаясь, Катрин весело ответила:

– Ну да!.. Не скоро же ты догадался!

IV

Четыре углекопа, вытянувшись один над другим во всю высоту забоя, работали обушками. Между ними укреплены были доски с крючьями, удерживавшими отбитые куски угля; каждый из забойщиков занимал по четыре метра пласта, а пласт в этом месте был тонкий – сантиметров пятьдесят, и забойщиков как будто сплюснуло между кровлей и подошвой пласта, они передвигались ползком; стоило чуть-чуть повернуться, и они ушибали себе плечи. Отбивать уголь они могли только лежа на боку, изогнув шею, подняв руки и наискось ударяя обушком с короткой рукояткой.

Внизу находился Захарий, выше примостились Левак и Шаваль, а на самом верху работал Маэ. Каждый подрубал уголь снизу, отделяя его от сланцевой подошвы, потом делал в пласте две вертикальных борозды и отсекал глыбу, вбивая в верхнюю часть пласта стальной клин. Уголь был жирный, глыба раскалывалась, и куски угля скатывались по животу и ногам забойщика. Когда эти куски, сдерживаемые дощатой загородкой, скоплялись грудой, забойщики исчезали за ней, словно замурованные в узкой щели.

Тяжелее всех приходилось Маэ. Вверху температура доходила до тридцати пяти градусов, не чувствовалось никакого движения воздуха. Нечем было дышать. Маэ повесил лампу на гвоздь около самой головы, чтобы было светлее, и от этой лампы, нагревавшей ему темя, кровь приливала к мозгу. Пытку увеличивала сырость. В нескольких сантиметрах от его лица с кровли забоя сочилась вода; стекавшие по камню крупные капли падали равномерно, быстро, упорно, и все на одно и то же место. Как он ни поворачивал шею, как ни запрокидывал голову, капли падали ему на лицо, расплывались, хлюпали без перерыва. Через четверть часа Маэ весь промок, да еще обливался потом, и от него шел пар, как от бака с горячей водой, приготовленной для стирки. В то утро капли усердно долбили ему лоб над правой бровью. Маэ в ярости ругался. Ему не хотелось прерывать работу, и он бил обушком изо всех сил, так что от ударов сотрясалось все его тело, стиснутое двумя пластами породы, – он напоминал жучка, зажатого между страницами толстой книги, которая вот-вот захлопнется и расплющит его насмерть.

Никто не произносил ни слова. Все рубили уголь: слышны были только неровные, вперебой, удары, глухие, словно доносившиеся издали. В застоявшемся воздухе звуки теряли четкость, не отдавались эхом. А мрак был небывалой, густой черноты от разлетавшейся во все стороны угольной пыли, тяжкий мрак, насыщенный газами, щипавшими глаза. Шахтерские лампы, прикрытые металлической сеткой, светились красноватыми пятнышками. Ничего нельзя было различить. Низкий забой с косой кровлей походил на дымоход, в котором за десять зим скопился слой черной сажи. В этой впадине двигались призрачные фигуры, скупые огоньки выхватывали из темноты то округлые очертания бедра, то жилистую руку, напряженное лицо, вымазанное черным, словно у разбойника, собравшегося на грабеж. Порой выделялись глянцевые глыбы угля, – их плоскости, грани, внезапно загорались кристаллическим блеском. И снова все тонуло во мраке; тишину нарушали только сильные, глухие удары обушков, только тяжкое прерывистое дыхание, невнятное бормотанье людей, изнемогавших от мучительных усилий, от неудобного положения тела, от духоты и подземного дождя.

У Захария руки были словно ватные после вчерашней выпивки, он вскоре прервал работу под тем предлогом, что необходимо заняться креплением; это позволило ему присесть и, забыв обо всем на свете, насладиться минутной передышкой, насвистывая и устремив глаза в темноту. Позади забойщиков на протяжении трех метров уголь из пласта уже был выбран, а они еще не укрепили кровлю, нисколько не думая об опасности и не желая тратить время на эту работу.

– Эй ты, барин! – крикнул Захарий новичку. – Подавай-ка мне стойки.

Этьен, учившийся у Катрин работать лопатой, понес в забой стойки. Со вчерашнего дня остался небольшой запас крепежного леса. Каждое утро в шахту спускали готовые дубовые столбы, по размеру соответствующие толщине угольного пласта.

– Поживей ты, размазня! – крикнул Захарий, видя, как новый откатчик неловко взбирается по грудам угля и тащит четыре дубовых подпорки.

Сделав обушком одну зарубку в кровле, а другую в стене забоя, Захарий вставлял в них концы стойки, которая и подпирала таким образом породу. Во второй половине дня разборщики сгребали куски пустой породы, оставленные забойщиками в глубине хода, и закладывали ими выработанное пространство

пласта, засыпая и поставленное там крепление, но всегда оставляли свободными верхний и нижний ходы для откатки угля.

Маэ перестал ворчать и ухать, – он наконец отбил глыбу угля. Утирая мокрое лицо рукавом куртки, он тревожно спрашивал, чего ради забрался наверх Захарий, что он собирается там делать?

– Да оставь ты! – сказал он сыну. – После завтрака посмотрим. Сейчас надо на вырубку налечь. А то не выдадим свое число вагонеток.

– Да ведь оседает, – ответил ему сын. – Погляди – оседает! Вон какая трещина. Как бы не завалило!..

Но отец только пожал плечами. Выдумал тоже – завалит! А если даже и завалит! Что им, в первый раз, что ли? Как-нибудь справятся.

В конце концов Маэ рассердился и велел сыну работать в забое.

Впрочем, и у всех дело не спорилось. Левак лежал на спине и, ругаясь, рассматривал ссадину на большом пальце левой руки, с которого упавшим камнем сорвало лоскут кожи. Шаваль в сердцах сдернул с себя рубашку, надеясь, что работать голым до пояса будет не так жарко. Все уже были черны от мелкой угольной пыли, смешанной с обильным потом, который струился ручьями, растекался лужицами. Первым возобновил работу Маэ, врубаясь в пласт еще ниже прежнего, держа голову у самой его подошвы. Капля воды, падавшая сверху, упорно ударяла ему в лоб, и Маэ казалось, что она продолбит ему череп.

– Не обращай внимания, – сказала Этьену Катрин. – Они всегда орут.

И она услужливо продолжала обучать Этьена. Каждую нагруженную вагонетку подавали на-гора в том виде, как ее отправляли из забоя, пометив своим жетоном для того, чтобы приемщик зачислил ее на счет артели. Поэтому нагружать следовало тщательно, брать чистый уголь, иначе вагонетку браковали.

Глаза Этьена привыкли к полумраку, он вглядывался в малокровное и еще не испачканное углем бледное личико Катрин и не мог решить, сколько ей лет. По виду – лет двенадцать: уж очень маленькая, хрупкая. Однако он чувствовал, что она гораздо старше – столько в ней было мальчишеской дерзости и наивного бесстыдства, которое его порядком смущало; она ему не нравилась, он находил ее бескровное лицо слишком детским, а синий колпак, плотно охватывающий ей виски, делал ее похожей на Пьеро. И его удивляло, что у этой девочки столько нервной силы и ловкости; она наполняла свою вагонетку гораздо скорее, чем Этьен, быстро и равномерно подхватывая уголь лопатой, затем ровно и плавно катила вагонетку до наклонной выработки – бремсберга, ни разу не зацепившись, пробиралась под низко нависшей кровлей; он же то и дело ушибался, вагонетка сходила у него с рельсов, и он не умел исправить беду.

В самом деле, путь был не из удобных. От забоя до бремсберга было метров шестьдесят, и в этом штреке, который проходчики еще не успели расширить, узком, как щель, кровля нависала неровными выступами, под ногами торчали бугры; груженая вагонетка местами едва могла пройти, откатчику приходилось проталкивать ее, ползти на коленях, согнувшись в три погибели, чтобы не раскроить себе голову. Вдобавок крепи уже сдавали, раскалывались. На самой середине иных стоек, словно в непрочных, подломившихся костылях, виднелись длинные белесые полосы. Надо было двигаться осторожно, чтобы не исцарапаться об острые щепки, торчавшие из этих изломов; от давления каменной породы толстые дубовые стойки постепенно сгибались, и люди, пробираясь ползком, томились глухой тревогой: а вдруг все сейчас рухнет, и глыба песчаника перебьет им спинной хребет.

– Опять? – смеясь, воскликнула Катрин.

В самом трудном проходе у Этьена сошла с рельсов вагонетка. Ему все не удавалось катить ее прямо: рельсы не плотно лежали на мокрой земле; он ругался, злобно сражаясь с непослушной вагонеткой, но, несмотря на все усилия, никак не мог поставить колеса на место.

– Подожди ты! – сказала девушка. – Будешь злиться, дело не пойдет.

Она юркнула под заднюю стенку вагонетки, нагнувшись, подставила спину, напряглась и, приподняв вагонетку, поставила колеса на рельсы. Груз весил семьсот килограммов.

Удивленный, смущенный Этьен бормотал извинения. Катрин показала ему, как надо расставлять ноги и, сгибая колени, упираться ступнями в стойки, вбитые по обе стороны штрека, как надо согнуться и вытянуться и, толкая вагонетку, напрягать все мышцы рук, спины и ног. Во время одного из перегонов он шел за нею следом, наблюдая, как она трусит, сгибаясь под прямым углом и так низко опустив руки, что казалось, она бежит на четвереньках; она напоминала тогда одного из тех дрессированных зверьков, которых показывают в цирке. Она обливалась потом, тяжело дышала, у нее хрустели суставы, но она не проронила ни единого слова жалобы, перенося все с привычным равнодушием, словно жить в подземной тьме и, согнувшись, толкать вагонетку было всеобщей горькой участью. А Этьену ничего не удавалось; ему мешали башмаки, у него ломило все тело, ему трудно было шагать, низко опустив голову. Через несколько минут спина начинала мучительно ныть; и, не выдержав пытки, он опускался на колени, чтобы выпрямиться и передохнуть.

А когда добирались до бремсберга, начинались новые мученья. Катрин научила Этьена спускать вагонетку, прицепив ее к тросу. В верхнем и в нижнем конце бремсберга, который имелся в каждом горизонте и служил для откатки угля из всех забоев, находились двое рабочих: вверху – тормозной, внизу – приемщик. Эти двенадцати-пятнадцатилетние озорники для развлечения перекликались, угощая друг друга ужасающей бранью; откатчицам приходилось выкрикивать еще более крепкие ругательства, чтобы предупредить их о своем прибытии. Приемщик подавал сигнал, откатчица прицепляла свою нагруженную вагонетку, та своей тяжестью натягивала трос и съезжала вниз, а наверх по скату поднималась пустая вагонетка, как только тормозной отпускал тормоз. Внизу, в главном откаточном штреке, из вагонеток составлялся поезд, который лошадь тянула до рудничного двора.

– Эй вы, черти сонные! – крикнула Катрин, очутившись в бремсберге, длиною в сто метров и целиком обшитом досками, – в этом узком коридоре голос звучал, как в гигантском рупоре.

Ответа не было – мальчишки, должно быть, заснули. Во всех лавах движение вагонеток остановилось. Послышался тоненький голосок какой-то девочки:

– Наверняка один уже с Мукеттой валяется!

Раздался громовый хохот; откатчицы со всего горизонта хохотали, хватаясь за бока.

– Кто это? – спросил Этьен.

Оказалось, что голосок принадлежал Лидии, бесстыжей худенькой девчонке, катившей вагонетки своими кукольными лапками не хуже взрослой женщины. Что касается Мукетты, она была способна дурить с обоими мальчишками разом.

Вдруг снизу раздался голос приемщика: «Прицепляй!» Вероятно, там проходил штейгер. Во всех девяти промежуточных штреках возобновилась откатка; слышались только равномерные окрики приемщиков и тяжелое дыхание откатчиц, от которых на подъеме к бремсбергу шел пар, как от лошади, когда она тянет тяжелый воз. В шахте пронеслось веяние животной чувственности, грубого желания, охватывавшего углекопов, когда они встречали одну из откатчиц, толкавших вагонетки чуть ли не на четвереньках, в непристойной позе, ибо мужской костюм, обтягивавший их бедра, чуть не лопался по швам.

И после каждой откатки Этьен возвращался к забою, где в жаре и духоте раздавался неровный стук обушков и тяжелое уханье забойщиков, не прекращавших работу. Уже все четверо скинули рубашки и словно сливались с угольным пластом, до макушки перемазавшись мокрой черной грязью. Один раз пришлось откапывать Маэ, задохнувшегося под грудой вырубленного угля; для этого выдернули доски, чтобы уголь скатился в штрек. Захарий и Левак злились, что уголь «невмоготу крепок», как они говорили, и из-за этого «как есть ничего не заработаешь». Шаваль, перевернувшись на спину, принялся издеваться над Этьеном, присутствие которого явно раздражало его.

– Эх ты, червяк! Силы меньше, чем у девчонки! Вагонетку нагрузить и то не умеет! Что, мозоли на руках боишься набить? Вот погоди, сукин сын, вычту у тебя десять су, если по твоей милости у нас хоть одну вагонетку забракуют.

Этьен не решался отвечать: он был до того рад даже этой каторжной работе, что смиренно принимал грубую иерархию, установленную между чернорабочим и мастером. Но он совсем выбился из сил: ноги у него были стерты в кровь, руки сводила судорога, грудь будто сжимали тиски. К счастью, уже было десять часов, артель решилась сделать передышку и позавтракать.

У Маэ были часы, но смотреть на них ему и не требовалось. В этой подземной беззвездной ночи он узнавал время, не ошибаясь даже на пять минут. Все надели рубашки и куртки. Потом спустились из забоя и присели на корточки,

прижав локти к бедрам, – эта поза так привычна для шахтеров, что зачастую они принимают ее и вне шахты и преспокойно сидят, не нуждаясь ни в камне, ни в бревне. Каждый вытащил свой «брусок», и все сосредоточенно принялись откусывать от толстого ломтя, изредка перекидываясь замечаниями по поводу проделанной за утро работы. Катрин постояла среди них и направилась к Этьену, – он полулежал на земле, вытянув ноги поперек рельсов и прислонившись спиною к деревянной стойке. В том месте было почти сухо.

– Ты что же не ешь? – спросила Катрин, откусив от своей горбушки.

И тут она вспомнила, что парень целую ночь брел по дорогам без гроша в кармане и, может быть, без куска хлеба.

– Хочешь, поделюсь с тобой?

Этьен отказывался, уверяя, что ему совсем не хочется есть, хотя от голода у него сосало под ложечкой и дрожал голос. И тогда Катрин весело сказала:

– А-а, брезгуешь?.. Погоди, я откусила с этого конца, а тебе отломлю с другого.

Она разломила горбушку пополам. Этьен принял свою долю и едва удержался, чтобы не съесть ее всю сразу.

Опасаясь, как бы девушка не увидела, что у него трясутся руки, он положил их на бедра. Спокойно, как добрый товарищ, Катрин легла возле него ничком и, подперев одной рукой голову, в другой держала хлеб, от которого не спеша откусывала понемногу. На земле между ними стояли лампочки, бросавшие на них свет.

Катрин с минуту молча смотрела на Этьена. Должно быть, ей нравились его тонкие черты и черные усики. Она по-детски усмехнулась от удовольствия.

– Так ты, значит, механик, и тебя с дороги прогнали? За что?

– За то, что дал начальнику оплеуху.

Она была ошеломлена, потрясена непостижимой для нее дерзостью такого поступка, – это противоречило унаследованным ею взглядам о необходимости беспрекословного подчинения начальству.

– Надо тебе сказать, я тогда выпил. А я, как выпью, будто сумасшедший делаюсь: и себя и других могу искалечить. Да… Стоит мне выпить две рюмки, две маленьких рюмочки, меня так и подмывает лезть в драку… Так бы и пристукнул кого-нибудь. А после выпивки я два дня больной.

– Так ты не пей, – серьезно сказала Катрин.

– Ну, понятно… Не бойся, я свой характер знаю.

И Этьен замотал головой. Он ненавидел водку, как только может ее ненавидеть потомок многих поколений пьяниц, человек, у которого наследственность, полученная от предков, пропитанных и сведенных с ума алкоголем, явилась для организма таким тлетворным началом, что малейшая капля спиртного становится для него ядом.

– Главное, вот из-за матери досадно, что выставили меня, – сказал он, прожевав кусок. – Матери плохо живется, ну я ей кой-когда и посылал деньжат.

– А где твоя мать живет?

– В Париже, на улице Гут-д’Ор. Прачкой работает.

Наступило молчание. Когда Этьен думал обо всем этом, его черные глаза сразу тускнели, красивого и здорового юношу охватывали растерянность и страх перед неведомым злом, которое он носил в себе. Секунду он сидел, устремив взгляд в темноту, и здесь, в недрах земли, в гнетущей духоте, ему вспомнилось детство, вспомнилось, как его мать, такую еще миловидную и энергичную женщину, бросил его отец, как потом вернулся к ней, когда она уже вышла за другого; и она жила меж двух этих мужчин, которые терзали ее, и вместе с ними скатилась в грязь, в помойную яму пьянства и разврата. Сколько пришлось ему тогда пережить! Крепко запомнилась ему эта улица и некоторые подробности: груды грязного белья в прачечной, попойки, отравлявшие весь дом зловонием винного перегара, скандалы, драки и пощечины, которыми чуть не сворачивали человеку скулы.

– Ну, а теперь, – произнес он жалобно, – по тридцать су в день заработаю, не из чего будет посылать матери. Умрет она в нищете. Наверняка умрет!..

С выражением безнадежности передернув плечами, он откусил хлеба и молча стал жевать.

– Хочешь пить? – спросила Катрин, вытаскивая из фляги пробку. – Не бойся, от кофе вреда не будет… А всухомятку есть – подавишься…

Этьен отказался, – довольно и того, что он съел половину ее завтрака. Это ведь прямо бессовестно. Но Катрин настаивала, уговаривала от всего сердца и в конце концов сказала:

– Ну ладно, я попью первая, раз ты такой вежливый… И теперь ты не можешь отказаться. А не то я обижусь.

Приподнявшись на колени, она протянула ему флягу. Этьен увидел девушку совсем близко от себя при свете двух шахтерских ламп. Почему она сперва показалась ему некрасивой? Теперь, перемазанная, запачканная угольной пылью, она приобрела какую-то странную прелесть. На юном лице, возникшем из темноты, смеялся большой рот, сверкали белые зубы, большие зеленоватые глаза блестели, как у кошки. Пряди рыжеватых волос, выбившиеся из-под колпака, щекотали девичье ухо, и это ее смешило. Она больше не казалась девочкой. «Лет четырнадцать ей как-никак есть», – подумал он.

– Ну, чтобы доставить тебе удовольствие, давай сюда, – согласился Этьен и, отпив из горлышка, вернул ей флягу.

Она сделала второй глоток, заставила и его отпить еще раз, чтобы поделить поровну, как она говорила, и их забавляло, что узкое горлышко фляги переходит то в ее, то в его рот. Он уже подумывал, не схватить ли девушку в объятия да не поцеловать ли в губы? Его все больше искушали эти полные бледно-розовые губы, оттененные углем. Но он не решался, робея перед нею, ведь в Лилле он знал только продажных женщин самого низкого пошиба, а вот как подступиться к работнице, да еще живущей в своей семье?

– Тебе сколько лет? Четырнадцать есть? – спросил он.

Катрин удивилась и чуть не вспылила:

– То есть как четырнадцать? Мне уж пятнадцать!.. Правда, я худышка. У нас девушки не быстро растут.

Этьен продолжал свои расспросы. Она отвечала без всякого цинизма и без стыдливого смущения. Но хоть в отношениях между мужчиной и женщиной для нее, по-видимому, не было тайн, он чувствовал, что она невинна и что ее физическое развитие задерживается из-за того, что она вечно дышит спертым воздухом и надрывается на тяжелой работе. Когда он вспомнил историю с Мукеттой, желая смутить Катрин, девушка спокойно и весело принялась рассказывать ему анекдоты о непристойнейших проделках откатчицы. Да, Мукетта откалывает штучки, только держись! Этьен попытался узнать, есть ли возлюбленный у самой Катрин, – она шутливо ответила, что пока не хочет огорчать мать, но ведь это неизбежно и рано или поздно непременно случится. Она ежилась и слегка дрожала от холода в мокрой от пота одежде; когда она говорила об этой неизбежности, у нее было смиренное и кроткое выражение лица, словно она приготовилась терпеть и тяжкий труд, и подчинение мужчине.

– Возлюбленных сколько хочешь найдется, когда все вместе живут, верно?

– Понятно.

– И ведь никому от этого худа не бывает… Священнику на духу тоже можно не каяться.

– Священнику каяться? Подумаешь… очень нужно. А только вот Черного Человека надо остерегаться.

– Что это за Черный Человек?

– Старик углекоп. Бродит по шахте, и которая девушка согрешит, он ей шею свернет.

Этьен в недоумении смотрел на нее, думая, что она смеется над ним.

– Да неужели ты веришь такой чепухе? Ты, должно быть, не училась?

– Нет, как же… училась. Я грамотная. И читать и писать умею… От этого нам польза… А вот отца и мать в детстве ничему не учили, да и других тоже.

Просто прелесть какая девчонка! Вот он доест хлеб и тогда обязательно обнимет ее и поцелует в губы, в ее пухлые розовые губы. Приняв такое решение, робкий парень почувствовал себя чуть ли не насильником, от волнения у него перехватило горло. Мужская одежда, облегавшая девичью фигуру, возбуждала и смущала его. Вот он прожевал последний кусок, отпил глоток кофе и передал флягу Катрин – ее очередь допить все до дна. Ну, пора действовать. Этьен настороженно посмотрел на забойщиков – не увидят ли они, как вдруг чья-то тень выросла у входа в штрек.

Шаваль уже несколько секунд молча смотрел на них издали. Затем подошел, удостоверился, что Маэ не может его видеть, наклонился над Катрин, сидевшей на земле, схватил ее за плечи, запрокинул ей голову и со спокойной наглостью впился поцелуем в ее губы, делая вид, что не обращает на Этьена никакого внимания. В этом поцелуе было утверждение своего права и ревнивая решимость.

Однако девушка возмутилась.

– Оставь меня, слышишь!

Шаваль поднял ей голову, заглянул в глаза. Рыжие усы и бородка казались огненными на его черном от угля горбоносом лице. Наконец он выпустил ее и пошел прочь.

Этьена кинуло в дрожь. До чего было глупо ждать! Теперь поцеловать ее невозможно, – она, пожалуй, подумает, что ему просто не хочется отставать от этого парня. Самолюбие его было уязвлено, он пришел в искреннее отчаяние.

– Ты зачем солгала? – спросил он вполголоса. – Ведь он твой любовник?

– Да нет же! Клянусь тебе! – крикнула она. – Ничего такого нет между нами. Иной раз просто подурим, только и всего… Да он и не здешний. Полгода поди, не больше, как приехал из Па-де-Кале.

Оба поднялись, пора было приниматься за работу. Внезапная холодность Этьена явно огорчила Катрин. Вероятно, она считала, что он красивее Шаваля и, может быть, предпочла бы его долговязому забойщику. Ей очень хотелось утешить, обласкать его. Она увидела, с каким удивлением Этьен смотрит на свою лампу, заметив, что пламя стало голубым и окружено бледной каймой, и попробовала развлечь его.

– Пойдем, я что-то покажу тебе, – сказала она с приветливым, товарищеским видом.

Она привела его в глубину лавы и показала трещину в угольном пласте. Оттуда вырывалось легкое бульканье и посвистывание, похожее на щебетание птицы.

– Приложи руку… Чувствуешь ветерок?.. Это гремучий газ выходит.

Он застыл от изумления. Так это вот и есть тот самый ужасный газ, от которого может все взорваться? Катрин, смеясь, сказала, что нынче много газа вышло, раз пламя в лампах стало голубым.

– Скоро вы кончите болтать, лодыри? – раздался сердитый окрик Маэ.

Катрин и Этьен принялись торопливо нагружать вагонетку, потом стали толкать ее к бремсбергу, напрягая спину, чуть ли не ползком пробираясь под бугристой кровлей штрека. Уже со второго перегона они обливались потом, и снова у них хрустели суставы.

Возобновили свою работу и забойщики. Они нередко сокращали время завтрака, чтобы не охлаждаться; и толстые ломти хлеба, с жадностью поглощенные в недрах земли, вдали от света, теперь камнем лежали в желудках. Вытянувшись на боку, люди изо всех сил били обушком, одержимые одной-единственной мыслью – выдать на-гора как можно больше угля. Ожесточенная, тяжкая борьба за скудный заработок все заслоняла. Они не чувствовали, что кругом струится вода, что от сырости у них пухнут ноги, что все тело сводит судорога – в таком неудобном положении приходится работать; не замечали духоты и мрака, из-за которых они чахли, словно растения, вынесенные в подвал. Проходил один час за другим, и чем дальше, тем более спертым становился воздух, – от жара, от копоти шахтерских ламп, от дыхания людей, от удушливой пелены рудничного газа, словно паутиной заволакивающего глаза; только ночью вентиляция

проветривала подземные ходы, а теперь, в глубине кротовых нор, прорытых в толще каменных недр, задыхаясь, все в поту, стекавшем по разгоряченной груди, углекопы били и били обушками.

V

Наконец Маэ, не посмотрев на часы, оставленные в кармане куртки, остановился и сказал:

– Скоро час… Захарий, готово у тебя?

Захарий ставил подпорки. Но, занявшись этим делом, вдруг все бросил и застыл, лежа на спине и уставясь глазами в одну точку: он замечтался, вспоминая, как играл вчера в кегли и сколько раз выиграл. Очнувшись, он ответил отцу:

– Кончил. Нынче сойдет! А завтра посмотрим. – И, вернувшись, занял в забое свое место. Левак и Шаваль тоже отложили обушки. Надо было передохнуть. Каждый отер мокрое лицо голой рукой, поглядывая на каменную кровлю, в которой расслаивались пласты сланца. Говорили они только о своей работе.

– Вот уж не везет так не везет! – заметил Шаваль. – Наткнулись на неустойчивую породу! А ведь при расчете про это и не подумают.

– Мошенники! – ворчал Левак. – Только и ждут, как бы нас надуть.

Захарий засмеялся: наплевать ему на работу и на все прочее, но приятно слышать, как ругают Компанию. Миролюбивый Маэ стал объяснять, что порода в шахте меняется через каждые двадцать метров. Надо судить по справедливости, разве можно все предусмотреть? Видя, что Левак и Шаваль не утихомирились и громко возмущаются начальством, он встревожился и сказал, беспокойно озираясь:

– Молчите! Будет вам!

– Правильно! – добавил Левак, тоже понижая голос. – А то влипнем.

Даже здесь, на этой глубине, всех преследовала мысль о доносчиках, словно у пластов угля, составлявших собственность Акционерной компании, были уши.

– Все равно, – вызывающе сказал Шаваль. – Пусть только этот боров Дансар посмеет еще разговаривать со мной, как в прошлый раз, я ему покажу… Будет помнить… Я тебе, мол, не мешаю блудить с толстомясыми беленькими бабенками, так и не ругайся…

Захарий прыснул от смеха. Роман старшего штейгера с женой Пьерона постоянно был предметом шуток всей шахты. Внизу, у забоя, засмеялась и Катрин, опираясь на рукоятку лопаты, и коротко объяснила Этьену, о чем идет речь. Маэ рассердился и уже не скрывал своего страха перед начальством.

– Ну ты, помолчи-ка лучше!.. Хочешь беду накликать, так по крайности подожди, когда один останешься.

Не успел он договорить, как в верхнем штреке послышались чьи-то шаги. И почти тотчас же появился в сопровождении старшего штейгера Дансара инженер шахты, прозванный рабочими коротыш Негрель.

– Говорил я тебе! – пробормотал Маэ. – Всегда они тут как тут, прямо из-под земли выскакивают.

Первым показался Поль Негрель, племянник директора, молодой человек двадцати шести лет, стройный, кудрявый брюнет с черными усиками. Острый нос и быстрые глаза придавали ему сходство с любопытным ручным хорьком; умный взгляд его искрился насмешкой, но сразу становился пронзительным и властным, когда Негрель разговаривал с рабочими. Одевался молодой инженер для работы так же, как они, и так же был перепачкан углем и, чтобы внушить им уважение, выказывал отчаянную храбрость, забирался в самые опасные закоулки, всегда был первым на месте обвала или при взрыве гремучего газа.

– Ну как, Дансар, пришли? – спросил он.

Старший штейгер, широколицый бельгиец с крупным мясистым носом сластолюбца, ответил с преувеличенной почтительностью:

– Пришли, господин Негрель… А вот тот человек, которого наняли утром.

Начальники прошли в забой и велели Этьену подойти. Инженер поднял лампу и пристально всматривался в него, не задавая никаких вопросов.

– Ну хорошо, – сказал он наконец. – Но помните, я не люблю, когда берут всяких прохожих. Чтоб этого больше не было!

Объяснений он не стал слушать. Дансар принялся докладывать: необходимо было нанять человека, и ведь высказано пожелание заменять, по возможности, женщин-откатчиц мужчинами. Не обращая на него внимания, Негрель осматривал кровлю, а забойщики тем временем принялись рубить уголь. Вдруг инженер воскликнул:

– Послушайте, Маэ, вы что, плюете на наши приказы? Ведь вас тут всех прихлопнет, черт бы вас драл!

– Да нет, крепко держится, – спокойно ответил углекоп.

– То есть как это «крепко»? Кровля оседает, а у вас тут стоек кот наплакал – одна от другой в двух метрах! Вы бы хоть ненадолго перестали рубить уголь да занялись вовремя креплением, но вы предпочитаете, чтоб вам башку размозжило. Извольте немедленно поставить стойки. Старые укрепить и новых добавить. Слышите?

Углекопы, недовольные распоряжением, вступили в спор, доказывая, что им лучше знать, соблюдены ли правила безопасности, и тогда Негрель вспылил:

– Ах, вот как? А когда вас задавит, кто будет отвечать? Вы? Нет, Компании придется платить пенсии вам или вашим вдовам… Повторяю, ваши повадки мне известны: ради двух лишних вагонеток угля вы готовы сдохнуть.

Не давая воли накопившемуся в душе негодованию, Маэ сказал степенно:

– Платили бы нам как следует, мы бы и крепление ставили лучше.

Инженер, не отвечая, пожал плечами. Спустившись в штрек, он крикнул снизу:

– Вам остается еще час работать. Принимайтесь все за крепление. И предупреждаю: артель будет оштрафована на три франка.

Слова эти были встречены глухим ропотом. Углекопов сдерживала только сила дисциплины, той военной дисциплины, которая подчиняла младших по чину старшим – от коногона до главного штейгера. Однако Шаваль и Левак злобно взмахивали кулаком, хотя Маэ и старался их утихомирить взглядом. Захарий насмешливо пожимал плечами. Но, пожалуй, больше всех взволновался Этьен. С тех пор как он очутился на дне этого ада, в нем нарастало глухое возмущение. Он смотрел на Катрин, она стояла, смиренно опустив голову. Ах, как же это возможно! Люди надрываются на такой тяжелой работе в этом могильном мраке и не могут заработать даже на хлеб насущный! Тем временем Негрель отходил все дальше в сопровождении Дансара, который почтительно выслушивал суждения начальника и только молча кивал головой. Вскоре снова громко раздались их голоса: оба остановились в штреке, осматривая крепление, которое артель обязана была поддерживать на протяжении десяти метров от своего забоя.

– Говорю вам, что они плюют на наши распоряжения! – кричал инженер. – А вы, черт бы вас взял, за ними не следите. Почему?

– Да как же не слежу? Все время вдалбливаешь им правила, просто охрипнешь.

Негрель позвал сердито:

– Маэ! Маэ!

Все спустились к штреку. Негрель продолжал:

– Поглядите-ка! Разве тут что-нибудь держится? Насовали как попало! Все наспех, наспех! Вон у этого верхняка нет упора: стойки отошли… Да, теперь я понимаю, почему ремонт крепления обходится так дорого. Вам что? Вам только бы продержалось, пока вы за это отвечаете… А потом – все в щепки, и Компания вынуждена держать целую армию ремонтных рабочих… Посмотрите-ка сюда, посмотрите… Ведь это сущее издевательство!

Шаваль хотел что-то сказать, но инженер оборвал его:

– Молчите, я знаю, что вы опять скажете. Пусть, мол, вам больше платят, не правда ли? Ну так запомните хорошенько мои слова. Предупреждаю, дирекция вынуждена будет платить вам за крепление отдельно, но соответствующим образом вам уменьшат плату за вагонетку угля. Да, да. Посмотрим, что вы этим выиграете. А сейчас переделайте тут все крепление. Завтра приду проверю.

И, повернувшись спиной к углекопам, потрясенным этой угрозой, Негрель отправился дальше. Дансар, такой смирный в его присутствии, отстал от него на минутку и грубо крикнул рабочим:

– Значит, так? Из-за вас мне нагоняи получать? Я вам закачу не три франка штрафа, а кое-что похуже. Берегитесь!

А когда он ушел, Маэ, в свою очередь, разразился гневом:

– Ах, будь ты проклят! Что несправедливо, то уж несправедливо. Я люблю, чтобы все по-хорошему, спокойно, потому как иначе нельзя столковаться. Но в конце концов тут поневоле зло возьмет. Вы слышали? Снизим, мол, расценок за вагонетку, и тогда за крепление получайте отдельно!.. Словом сказать, еще придумали способ, как платить нам поменьше. Вот дьяволы, вот дьяволы!

Ему хотелось на ком-нибудь сорвать гнев, и вдруг он заметил, что Катрин и Этьен стоят сложа руки.

– Ну, тащите скорей стойки! Что вы тут торчите, уши развесили? Вот как дам хорошего пинка!

Этьен отправился за стойками, нисколько не обижаясь на эту грубость. Он и сам был возмущен начальниками и находил, что углекопы слишком благодушны.

Впрочем, Левак и Шаваль облегчили душу ругательствами. Все, даже Захарий, яростно принялись крепить, полчаса слышен был только стук кувалды о деревянные столбы. Никто не произносил ни слова; тяжело дыша, все неистово сражались с оседающей породой, – они перевернули бы ее и подняли, навалившись плечом, если бы достало силы.

– Ну хватит! – сказал наконец Маэ, подавленный гневом и усталостью. – Половина второго… Эх! Ну и день выдался! И по пятьдесят су не заработали. Я ухожу, очень уж противно.

И, хотя оставалось еще полчаса до конца смены, он оделся. Остальные последовали его примеру. При одном взгляде на забой все приходили в ярость. Увидев, что Катрин опять принялась за работу, они позвали ее и сердито стали упрекать за неуместное усердие. Пусть себе уголь лежит или пусть сам отсюда выбирается, если у него ноги есть. И все шестеро, держа инструмент под мышкой, пошли обратно, к рудничному двору, до которого им предстояло пройти два километра той же дорогой, что и утром.

Когда забойщики спускались по людскому ходку, Катрин с Этьеном задержались, встретив Лидию, катившую вагонетку; девочка остановилась, пропуская их, и рассказала, что куда-то исчезла Мукетта: у нее пошла носом кровь, просто ручьем полилась, и Мукетта куда-то убежала – делать себе примочки из холодной воды, и где она теперь – неизвестно. Выслушав рассказ, они двинулись дальше, а Лидия опять покатила вагонетку; измученная, перемазанная углем девочка напрягала худенькие руки и ноги и похожа была на тощего черного муравья, который упорно сражается с непосильной для него ношей. В некоторых ходах Этьен и Катрин съезжали по спуску прямо на спине и втягивали голову в плечи, боясь ободрать себе лоб; по гладкому скату, отполированному спинами всех рабочих этого крыла шахты, скользили так быстро, что время от времени тормозили, хватаясь за деревянные стойки, и говорили, шутя: «А то, глядишь, салазки загорятся».

Внизу Этьен с Катрин оказались одни. Красные звездочки ламп уже исчезли вдали, на повороте штрека. Все веселье пропало. Оба шли тяжелой, усталой походкой, она впереди, он позади. Лампы коптили, Этьен с трудом различал Катрин в облаке мглистого тумана; мысль, что она женщина, вызывала у него раздражение: зачем он свалял дурака, – ни разу не поцеловал ее? Но воспоминание о Шавале мешало ему это сделать. Разумеется, она солгала: этот малый – ее любовник, они валялись тут на всех кучах щебня, она и бедрами-то покачивает, как настоящая шлюха. Без всякого основания он злился, будто Катрин изменила ему. А она меж тем поминутно оборачивалась, предупреждала его о каждом препятствии и, казалось, упрашивала быть повеселее. Тут они были так далеко от всех, отчего бы не пошутить, не посмеяться, как добрым друзьям? Наконец они дошли до откаточного квершлага, и Этьен почувствовал облегчение: скоро кончится мучительная для него раздвоенность; а Катрин в

последний раз взглянула на него и запечалилась, словно ей жаль было счастья, которое уже никогда не вернется.

Теперь вокруг них кипела шумная подземная жизнь; то и дело проходили штейгеры; громыхали целые поезда вагонеток, и лошади тащили их разбитой рысцой. Ежеминутно звездами загорались в темноте шахтерские лампы. Приходилось прижиматься к стенке, пропускать черные фигуры коногонов и лошадей, обдававших путников своим дыханием. Жанлен, бежавший босиком позади своего поезда, выкрикнул какую-то непристойность, которую они не расслышали в грохоте колес. Они все шли, шли; Катрин умолкла; Этьен, не узнавая пути, пройденного утром, вообразил, что она заблудилась на этих подземных улицах и перекрестках; а главное, он стал мерзнуть, и чем ближе подходили к стволу шахты, тем ему становилось холоднее, он дрожал мелкой дрожью. В узких облицованных камнем коридорах воздух проносился с силой урагана. Этьен впал в отчаяние, ему казалось, что они никогда не придут, и вдруг он оказался в рудничном дворе.

Шаваль бросил на них косой, недоверчивый взгляд и злобно скривил губы. Остальные были тут же, стояли на ледяном сквозняке, мокрые от пота, и молчали так же, как Шаваль, подавляя гневный ропот. К подъемнику пришли слишком рано, – раньше чем через полчаса их и не думали поднять, тем более что наверху шли сложные приготовления – собирались спустить в шахту лошадь. Стволовые все еще подтягивали к клети вагонетки с углем, катившиеся по чугунным плитам с таким оглушительным грохотом, словно тут перекидывали старые листы железа; потом клеть, взлетая вверх, исчезала в черной дыре, где по ней барабанил проливной дождь. Внизу вода струилась ручьями и стекала в десятиметровый колодец, издававший запах сырости и тины. У подъемника суетились стволовые, – они дергали веревки, подавая сигналы, нажимали на рукоятки рычагов, и все промокли до нитки, стоя в облаке водяной пыли. Горели три лампы без сетки, их красноватый свет и большие движущиеся тени людей придавали этому подземному залу сходство с разбойничьим вертепом, устроенным в пещере близ водопада.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/emil-zolya/zherminal-kupit

надано
Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити